

Детство Маврика



ЕВГЕНИЙ ПЕРМЯК

Детская библиотека (Эксмо)

Евгений Пермяк
Детство Маврика

«Эксмо»

1969

Пермяк Е. А.

Детство Маврика / Е. А. Пермяк — «Эксмо», 1969 — (Детская библиотека (Эксмо))

ISBN 978-5-04-178648-9

Эту книгу – «Детство Маврика» – я задумал, как мне кажется теперь, еще в студенческие годы, но до последних лет не решался написать ее. Меня останавливало главным образом то, что и без того много книг о детстве. Но позднее, спустя годы, мои опасения рассеялись, потому что в жизни уральской детворы столько самобытного и своеобразного, что и при желании нельзя повторить ничье детство. Об этом говорил мне в своих письмах и знаменитый уральский сказочник Павел Петрович Бажов, говорили то же самое и мои родные. И я понял, что не написать об этом – значит спрятать от других самое дорогое, чем я располагаю.

ISBN 978-5-04-178648-9

© Пермяк Е. А., 1969

© Эксмо, 1969

Содержание

Часть первая	6
Первая глава	6
Вторая глава	25
Третья глава	42
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Евгений Пермяк

«Детство Маврика»



© Евгений Пермяк, 2022

© Оформление. ООО «Издательство Эксмо», 2022

Часть первая

Первая глава

I

Рано начинаются зимние сумерки в затемнённой сырой квартире с двумя маленькими окошками, которые выходят на тесный двор высокого дома. Скучно сидеть в полумраке восьмилетнему Маврику и смотреть на стрелки будильника. Ещё целых два круга нужно пройти большой стрелке, и только тогда вернётся мама, если её, конечно, не задержат в магазине швейных машин Зингера, где она служит кассиршей. С мамой придёт свет керосиновой лампы и тепло круглой печи, остывшей за день.

Маврик мог бы и сам растопить печь и зажечь лампу. Спички так и просятся: «Возьми нас... Не бойся. Чиркни!» «Нет, нет, – отвечает им Маврик, не открывая рта. – Я дал маме честное слово не прикасаться к вам. И пожалуйста, не поддразнивайте меня. Разве вы не знаете, что обмануть маму – это самое страшное из всех самых страшных преступлений. За это мало тюрьмы...»

Спички получают по заслугам. Маврик закрывает их блюдцем. Пусть сидят в темноте и не смеют попадаться на глаза. Один их вид наводит на всякие размышления. А Маврик был и останется порядочным человеком на всю жизнь.

Но и порядочному человеку, выучившему все уроки, невесело коротать время с мышами. Опять хлопнула мышеловка. И опять пришлось вздрогнуть. Маврик не трус, он просто немножко нервный. В прошлом году он испугался громкого пароходного свистка и стал после этого заикаться.

Нужно посмотреть, кто попался. И Маврик лезет под кровать. Попалась очень скромная, тихая мышка. Не бьётся, не бегаёт, не старается улизнуть. Среди таких мышей и встречаются заколдованные феи, добрые волшебницы. А вдруг это не простая мышь? Стоит только её пожалеть, и жалость снимет с неё злые чары. Пока этого ещё не случилось, но может случиться. Выпущенная мышь превратится в красавицу и скажет: «Спасибо, Маврик. Проси что захочешь, и я всё сделаю для тебя».

И Маврик скажет ей: «Пожалуйста, сделайте так, чтобы я сейчас же очутился в Мильвенском заводе, в дедушкином доме, где светло горят лампы и топят печи, где не нужно смотреть на часы и сидеть одному в тёмной комнате».

«Только-то и всего, – скажет волшебница. – А я думала, ты попросишь лошадку пони, а то и двух... Одну себе, а другую для Санчика. Вдвоём куда интереснее скакать по улицам Мильвенского завода...»

Скажет так и тут же исчезнет, а Маврик окажется в дедушкином доме, и на дворе будут тоненько ржать две маленькие лошадки пони. Феи любят нежных и поэтому дают им и то, что они не смеют у них попросить, но очень хотят.

Фея может сделать так, что на дедушкином дворе, за старым сараем, появится пруд. По пруду фея может пустить и пароход. Ей что?... Махнула волшебной палочкой и сказала: «Будь пароход!» И будет пароход. Небольшой. С тремя каютами. Для мамы с папой одна. Для тёти Кати с бабушкой другая. И для Маврика с Санчиком. Хотя они могут обойтись и без каюты. Потому что им некогда будет в ней сидеть. Нужно вертеть рулевое колесо, подбрасывать в котёл дрова, давать свистки, отдавать чалки, приставать к пристаням.

Фея может сделать и так, что на пруду появятся две пристани. Тоже маленькие, но побольше кровати. И с крышей. И с флагами. Одна пристань будет называться Банная – на том берегу возле бани, а другая на этом, возле сарая, Сарайная. Или лучше – Сарайск. Город Сарайск. Вот и ездят туда и обратно... Какое это счастье!

Размечтавшийся мальчик открывает мышеловку и осторожно выпускает из неё серую пленницу. Мышь не торопится убегать в свою норку. Она оглядывается на Маврика, раздумывает о чём-то... И вот-вот, кажется, начнёт превращаться в фею, но не превращается...

На свете очень редко встречаются добрые феи. Из них Маврик знает только одну, да и та не фея, а тётя Катя.

Тёточка Катечка, а почему бы тебе не стать хоть на немножечко, хоть на одну минуточку феей? За эту минуточку ты бы успела взмахнуть волшебной палочкой и вернуть к себе своего Маврика.

Милая тёточка Катечка, ты не знаешь, как трудно сидеть без лампы и ждать, когда мама вернётся от Зингера и затопит печь. Милая тёточка и милая бабушка, мне плохо, мне холодно, а мамы всё нет и нет...

Крупные слёзы заливают глаза Маврика. От слёз ему становится ещё холоднее, и больше нет никакой возможности терпеть, он должен написать письмо тёте Кате и упросить взять его к себе, в Мильвенский завод, в тёплый дедушкин дом...

II

В тот вечер Маврику не удалось написать письмо своей тётке. Помешали слёзы, которые никак не хотели переставать литься из его глаз, да и мама вернулась раньше, чем всегда. Загорелась под потолком лампа, и затрещали в печи дрова. Мама принесла очень свежие сосиски, которые так любил Маврик. Она получила прибавку. Рубль. Рубль – это воз дров. Пусть небольшой, но всё же воз.

Мама не забыла купить и любимые царьградские яблоки. Она всё, что могла, делала для Маврика. И Маврик знал, что мама любит его. И он любил её, хотя всё реже и реже сидел у неё на коленях. Наверно, вырос. А может быть, теперь маме нужно любить не одного Маврика, потому что появился папа. Второй папа. Первый умер. Его почти не помнит Маврик. Ему тогда было три с половиной года.

Первый папа похоронен на старом кладбище против тюрьмы, где сидят «политические». На папином кресте написано: «Андрей Иванович Толлин». Маврик тоже Толлин. Тётя Катя ни под каким видом не советовала ему менять фамилию. И второй папа ничуть не обиделся на это. Наверно, он понимал, что нехорошо отказываться от фамилии настоящего отца. И кроме того, тётя Катя сказала, что быть мещанином города Перми Мавриkiem Андреевичем Толлиным лучше, чем сыном крестьянина деревни Омутихи Мавриkiem Герасимовичем Непреловым.

Мещанин – это мещанин, да ещё такого города. А крестьянин – это совсем другое. Хотя его новый папа совсем не похож на крестьянина и он не носит лаптей, но всё равно... Мама стала теперь Непреловой. Для неё перестать быть Толлиной ничего не значит, потому что это тоже не её фамилия, а папина. У мамы настоящая фамилия Зашеина, как у дедушки и у тёти Кати.

Но зачем на это обращать внимание. Мама со всякой фамилией остаётся мамой. Правда, не очень приятно объяснять в школе, почему он Толлин, а не Непрелов. Но что же делать. Он же сам согласился на нового папу и венчался вместе с ним и мамой в церкви на Слудке. И священник не запретил Маврику ходить вокруг аналоя, когда мама была папиной невестой, а папа – её женихом. Значит, Маврик тоже повенчанный со своим новым отцом. Они втроём праздновали свадьбу, и Маврик пил шипучее вино, разбавленное лимонадом. Оно шипело и щекотало в носу. Папа в этот день подарил Маврику волшебный фонарь, которым можно

показывать на стене туманные картины. Очень хороший фонарь, только мало картин. Шесть стёкол. Осталось пять. Одно разбилось.

Папа и теперь каждый раз, как только получит жалованье, покупает ему подарки. Хотя и не такие, как волшебный фонарь, но тоже интересные. Он и сегодня принёс подарок. Электрический фонарик с кнопкой. Стоит нажать эту кнопку, и под увеличительным стеклом, на боку фонарика, зажигается лампочка. Маврик был очень рад.

– Теперь я не буду сидеть в темноте.

Но папа сказал, что батарейки хватает только на два часа, если фонарик держать всё время зажжённым.

– Как мало! – удивился Маврик.

– Что же делать, – сказал папа и пообещал в следующее жалованье купить ещё две батарейки.

Не попросить ли Маврику денег у тёти Кати?

Нет. Он этого не сделает. Тёте Кате нужно написать не о батарейках, а совсем о другом. Да и много ли изменится в его жизни, если у него будет двадцать или тридцать батареек? От этого будет, конечно, светлее в комнате, но не там, не внутри, где душа, где сердце, где спрятано самое главное, о чём нельзя рассказать ни папе, ни маме и никому, кроме тёти Кати и бабушки.

В комнате стало очень тепло, и мама была так ласкова, а царьградские яблоки оказались ещё вкуснее, чем они были всегда, но письмо в Мильвенский завод не выходило из головы Маврика. Оно и не могло выйти, потому что мама опять задала Маврику тот же вопрос. Она сказала:

– А не веселее ли будет тебе, если мы купим на Чёрном рынке маленького братца или маленькую сестричку?..

Мама всегда советовалась с Мавриком, и Маврик всегда отвечал то, что ей хотелось. Теперь ей хотелось мальчика или девочку. И Маврик не мог запретить ей хотеть этого. И если бы он сказал «нет», то мама всё равно бы добилась от него «да». И он ответил:

– Да.

Мама была очень рада. Папа пообещал, не дожидаясь жалованья, завтра же купить ещё три батарейки и постараться разыскать к волшебному фонарю новые стёкла с новыми картинками.

Маврик молчал и краснел. Мама и папа, наверно, думали, что он краснеет от удовольствия. А он краснел от стыда. Ему было очень стыдно говорить неправду и ещё стыднее слушать её. Покупка братика или сестрицы на Чёрном рынке, где будто купили и его, это неправда. Он родился в Мильве, в дедушкином доме, в большой комнате, в пять часов утра восемнадцатого октября, и его принимал доктор Овечкин. Это правда. А то, что старый цыган привозит на рынок полный короб плачущих ребятишек, которых продаёт, как цыплят или поросят, – это ложь. Но в неё приходится верить. Делать вид, что веришь. Нельзя же сказать матери, что она... Что она сочиняет. Этого сказать невозможно, но невозможно и прикидываться дурачком, хотя бы в угоду матери. Это значит – тоже лгать.

Если бы у него были деньги, он завтра же послал бы длинную-предлинную телеграмму в Мильвенский завод. И может быть, он это сделает. Его первый папа когда-то служил на почте, и у него там остался товарищ. Телеграфист. Этот телеграфист всегда здоровается с Мавриком и рассказывает ему о папе. Может быть, он пошлёт телеграмму без денег или в долг?

Нет. Об этом узнает мама. Телеграфист может рассказать ей. Только письмо. Прошитое нитками и запечатанное сургучом...

III

Маврик уснул рано. Электрический фонарик лежал у него под подушкой. Мальчик улыбался во сне, и мать была очень рада, что её сын так сладко спит. Теперь никто не мешал поговорить и помечтать вслух.

– Ты знаешь, Люба, – сказал Мавриковой маме его отчим, – бумаги уже находятся на подписи. Наверно, на той неделе я буду чиновником, и тебя никто не посмеет упрекнуть за меня...

Герасиму Петровичу очень хотелось получить первый чин – коллежского регистратора – и надеть чиновничью форму. Хотя он и не останется служить в пермском окружном суде, где сейчас числится переписчиком, но, став чиновником, он перестанет называться крестьянином, что так важно для счастья Любочки и его счастья.

Ради этого он покинул Мильвенский завод, где мог занять очень хорошее место доверенного товарищества «Пиво и воды» и получать не двадцать три, а семьдесят рублей при готовой квартире с отоплением и освещением за счёт фирмы. Но всё равно бы все говорили, что писаная красотка Любочка выскочила замуж за мужика из Омутихи. И ей нечего было на это ответить. А теперь, извините, она чиновница, жена коллежского регистратора.

– Я так счастлива, Герочка, я так счастлива, милый мой, – говорила и плакала Любовь Матвеевна на плече мужа, который станет её гордостью на той неделе, и она заложит в городской ломбард плюшевую шубу на лисьем меху, и тогда хватит денег, чтобы заказать настоящую форму коллежского регистратора.

Всё равно скоро весна, и ей ничуть не трудно бегать в драповой жакетке от Сенной площади, где они живут, до Зингеровского магазина на Чёрном рынке. А потом ему прибавят жалованье... А летом не нужно будет покупать дрова и платить за обучение Маврика в школе Ломовой.

– Всё будет хорошо, – шептала, засыпая, Любовь Матвеевна. И Герасим Петрович верил этому.

Розовый свет трёхлинейного ночника озарял уснувших надеждами. Каждый лелеял свои желания, и они очень часто сбывались во сне. Этот бескорыстный обманщик не жалел красок, рисуя спящим людям и то, что наяву не могло выдумать самое пылкое воображение.

Герасим Петрович видел себя фермером. Фермер – это новое слово, которое появилось несколько лет тому назад. Ферма Герасима Петровича снилась ему не столь большой. Тридцать коров. Дом в три комнаты. Хорошие лошади. Пролётка на резиновых шинах. Небольшое, но и не маленькое рубленое помещение молочного завода, где будет стоять ведёрный сепаратор, бочка для сбивания сливок и пресс. Пресс прессует фунтовые кружки сливочного масла, а на кружках рельефное изображение породистой коровы и надпись: «ФЕРМА Бр. НЕПРЕЛОВЫХ». Его брат – Сидор Непрелов, умный и хозяйственный, но малограмотный мужик – тоже войдёт в компанию. И вообще вся деревня Омутиха будет кормиться, и хорошо кормиться, возле фермы. Кто сбивать масло, кто работать на молочном заводе, кто ходить за скотом. Но до этого нужно заработать и скопить деньги. Всё начинается с них. И служба в суде началась с денег. Продаётся и покупается всё, даже место судейского переписчика.

Герасим Петрович не собирается сделать хуже для своих одноподданных-омутихинцев. Он хочет, чтобы они ходили в сапогах, а не в лаптях, пахали плугами, а не сохами, и благодарили своего благодетеля – коллежского регистратора в отставке, фермера Непрелова.

Лучшего сна нельзя и желать. Однако же, если бы этот фермерский сон вместе с Герасимом Петровичем могла видеть и Любовь Матвеевна, то им, наверно, пришлось бы скоро проснуться. Любовь Матвеевна ни при каких обстоятельствах не будет жить в деревне. Потому что «это ужасно и невыносимо и, одним словом, кошмар».

Любовь Матвеевна видит себя женой доверенного фирмы «Пиво и воды». Квартира на втором этаже. Варшавские кровати с никелированными шишками. Ковры на полу и на стене. Большой столовый стол с двенадцатью венскими стульями. Четверги или пятницы, когда собираются гости. Преферанс и лото. Пельмени. Шуба на беличьем меху. Оренбургская шаль, которая легко продевается в обручальное кольцо, и смиренная вороная лошадь. Как у Дудаковых в Мильве.

И это она отчётливо видит во сне. Видит и знает, что этот сон станет явью. Любовь Матвеевна не позволит себя обманывать даже снам. Она видит только то, что будет или, по крайней мере, может быть.

А мещанин города Перми Маврикий Андреевич Толлин по малолетству позволяет снам властвовать над собой и показывать им невозможное.

Невозможное заключалось в том, что тётя Катя вела, ломая лёд на Каме, крейсер «Варяг» и командовала: «Наверх вы, товарищи, все по местам...» И все подымались наверх. Палили из пушек. Лдины рушились, и крейсер подходил уже к Перми, чтобы, забрав Маврика, двинуться обратно в Мильву, но в последнюю минуту «Варяг» насккивает на огромную льдину... «Шумит и гремит и грохочет кругом...» Маврик просыпается.

Начинается утро. Обыкновенное зимнее утро, когда заглушают будильник, когда гасят ночник с розовым стеклянным абажурчиком, зажигают лампу, потому что на улице ещё темно, разогревают вчерашний ужин или просто пьют чай с почерствевшим за ночь хлебом.

Маврик, закрывшись с головой одеялом, оплакивает гибель тёти Кати вместе с крейсером. Но сон постепенно оставляет мальчика, а с ним проходит и страх...

IV

Маврик мог бы и не просыпаться так рано. В школе Ломовой занятия начинаются в девять часов утра. А до школы – пять минут. Но Маврика нужно накормить, а потом погасить лампу. Ему этого делать тоже не разрешено. И Маврику приходится уходить из дому на полтора часа раньше, когда уходят его родители. Ничего не поделаешь – они тоже не виноваты.

Маврик обычно заходит в Богородскую церковь. Там тепло, и его знает церковный сторож. Но что делать в церкви? Смотреть на иконы? Он уже насмотрелся на них. Замаливать грехи?... Какие?

Иногда Маврик заходит в булочную. Булочная открывается очень рано. Но в булочной можно постоять недолго. Там обязательно спросят: «Что тебе?» Не ответишь же: «Мне ничего, я просто так».

Утром необыкновенно трудно проболтаться час. Раньше он заходил к сапожнику Ивану Макаровичу, который с удовольствием разговаривал с ним. Но мама запретила заходить к нему, потому что у сапожника он может набраться скверных слов, хотя у Ивана Макаровича были только хорошие слова. Он любил Маврика. Он называл его «барашей-кудряшей». Он рассказывал ему множество интересных историй. Почему же нельзя дружить с сапожником, у которого нет детей, а он любит их? Почему?

Но мама всё равно потребовала, чтобы Маврик дал ей честное слово не заходить больше к Ивану Макаровичу, и заходить стало некуда.

Другое дело после школы. Можно пойти в городской музей. Правда, он там бывал раз сорок и знает всё, от чучел зверей до двухголового ребёнка, заспиртованного в банке. Но всё равно, когда некуда деваться, можно пойти и в музей. Там его знают...

Иногда он проводит время у бабушки. У мамы первого папы. Но бабушка живёт в богадельне и не одна. В её комнате ещё шесть других чьих-то бабушек. Там нужно сидеть на одном месте и разговаривать шёпотом. А это очень трудно. Да и бабушка начинает расспрашивать, как он живёт, что делает, любит ли его новый отец, тепло ли в квартире, почему его мама

давно не была в богадельне... На эти вопросы ему не очень легко отвечать. Если Маврик скажет правду, то получится, что он жалуется на свою маму, а ничего не говорить тоже нельзя. Бабушка требует рассказывать всё.

– Я же твоя родная бабушка, – говорит она, – ты ничего не должен скрывать от меня. Если что, я сумею постоять за тебя...

А как «постоять»? Обидеть его маму? Накричать на неё? Она и без того как «белка в колесе».

Если бабушка на самом деле хочет «постоять» за него, так пусть приходит после школы и посидит с ним хоть полчаса. А бабушка этого не делает. Но и её нельзя обвинять. Наверно, ей неприятно видеть вместе с мамой другого папу... Да и папе, наверно, тоже не хочется встречаться с бабушкой, которая ему никто, а «одни только напоминания». Хватит ему и того, что Маврикий Андреевич Толлин напоминает и лицом и фамилией первого папу, а тут ещё «старая свекровка Толлиниха». Так её называет Маврикова мама.

Вот и приходится заходить в богадельню к бабушке очень редко, когда совсем некуда деться. Если бы Маврик учился в обыкновенной школе, то у него были бы обыкновенные товарищи. Как он. И Маврик мог бы приходиться к ним, а они к нему. И было бы хорошо. Но в школе у Александры Ивановны Ломовой учатся мальчишки, которых привозят и увозят на лошадях или приводят и уводят горничные. Не всех, но многих. А те, которые ходят сами, всё равно не кассиршины дети. У них папы не служат переписчиками в судах. У них папы господа или купцы, а мамы купчихи или барыни... И все они живут в своих больших домах или в квартирах, где много комнат, и туда нельзя приходиться, как к сапожнику.

Впрочем, Маврика однажды пригласил к себе школьный товарищ Володя Морин, но потом перестал приглашать. Перестал приглашать потому, что Володя побывал в квартире у Маврика. Побывал и увидел, что у Маврика вместо столика для учения уроков стоит ящик из-под зингеровской машины, покрытый клеёнкой. Увидел, что стульев только три и все разные, а комнат – одна. Увидел и рассказал об этом всем остальным в первом классе. И все заметно переменялись. Правда, Александра Ивановна Ломова разговаривала с классом и сказала, что «бедность не порок», но всё же от этого Маврик не стал богаче, а несчастнее стал. Его при всех назвала бедным сама Александра Ивановна... А быть бедным среди богатых ещё хуже, чем сидеть одному в темноте.

Однако в классе находились мальчишки, которые не обращали внимания на богатство. Например, Геня Шаньгин. Геня был паровозом. Он самый большой в классе. Его оставили на второй год. Он умел свистеть и шипеть, как настоящий паровоз. И когда в перемену играли в поезд, Геня Шаньгин подымал пары, подавал свисток, и все мальчишки становились вагонами друг за дружкой, держась за ремни. Геня начинал шипеть, потом двигать локтями, как паровозными рычагами... Поезд двигался по классу, потом по большой комнате...

Маврик сначала был почтовым вагоном, а теперь его сделали простым товарным – и он мог прицепляться только к хвосту поезда. Самым последним.

Плохо быть простым товарным вагоном в хвосте поезда. Можно оторваться на крутых поворотах и полететь кувырком и больно удариться о печь. Но быть никем ещё хуже.

Спасибо Гене Шаньгину за то, что он разрешает Маврику быть в его поезде хотя и последним, но – вагоном...

V

Если бы Маврик знал, что ему так плохо будет в Перми зимой, разве бы он поехал сюда? Ему нужно было сказать всего лишь одно слово – «нет», и тётя Катя и бабушка ни за что не отпустили бы его из милой Мильвы.

Но Пермь манила его. Он любил приезжать в этот белый город. Белый город начинался дымным Мотовилихинским заводом. Мотовилиха чем-то походила на родной Мильвенский завод. За Мотовилихой сразу же начиналась Пермь. В городе Маврика ждал жареный миндаль в «фунтиках», вафли трубочками, горячие жареные пирожки, фонтан в театральном саду, извозчики, у которых лошади так хорошо выколачивают копытами «ток-ток-ток».

Да разве можно с чем-нибудь сравнить Пермь летом. Что может быть лучше, чем стоять в набережном саду, который почему-то называется Козьим загонем, хотя там нет никаких коз. Стоять в Козьем загоне и любоваться пароходами. Сколько их тут... Любимовские, каменские, кашинские, русинские... А буксирных? А барж? А плотов? Про лодки нечего и говорить. На них можно и не смотреть.

Как было бы хорошо, если бы не застывала Кама, не заносило снегом улицы и ночи бы всегда оставались короткими, светлыми, а дни длинными и тёплыми. Тогда бы не нужно Маврику торчать в музее, в церкви, в писчебумажном магазине и вообще придумывать, куда уйти от холода и рано наступающей темноты.

Маврик многое увидел, узнал и понял в Перми. Но мог ли он увидеть больше и понять лучше увиденное, чем он мог?

И помехой этому были не только его малые годы, но и глаза, которые могли видеть окружающее и понимать его так, как видели и понимали мама, папа, тётя Катя и две бабушки.

Недавно бабушка Пелагея Ефимовна Толлина внушала внуку:

– Кому как написано на веку, тот так и живёт. К примеру: булочник торгует булками, мужики сеют рожь, судьи судят, рабочие работают, губернатор губернаторствует, школьники учатся, нищие просят милостыньку, а царь царствует над всеми. Понял?

– Понял!

И бабушка опять начинает наставлять:

– Всякому своё, и всё от бога. И никто ничто не может изменить, потому что от бога не до порога и без него даже и волос не упадёт ни с чьей головы. Ясно?

– Ясно.

Да и как может быть неясно, когда он это же, только другими словами сказанное, слышал от первой бабушки. От главной.

Значит, так устроена жизнь не только в Мильвенском заводе, но и в Перми. Коли Агафуровым написано на веку быть хозяевами большого магазина, они и торгуют. А батюшкам в Богородской церкви написано отпевать покойников и крестить ребят – они и отпевают и крестят. Всякому своё. И было бы смешно, если бы губернатор стал играть вдруг на шарманке и предлагать билетик на счастье или отпевать покойников, а шарманщик ездить в карете. Не может и он, Маврик, стать вагоном-салоном или хотя бы багажным, если ему написано на веку быть товарным вагоном и прицепляться в хвост поезда. И этого нельзя изменить.

Мало ли истин, на которые можно и нужно положиться. И полагались. Терпели, обманывались и молились.

Кто же мог сказать Маврику, что богатые люди богаты потому, что бедны другие, что они обворовывают их. Этому не поверил бы Маврик, даже если бы так сказал ему и сам Иван Макарович, который очень много знает. Больше учительницы в школе Ломовой. Маврик обязательно бы удивился и спросил: если они воры, то почему же не сидят в тюрьме?

Кто мог разъяснить Маврику, что эта кража состоит в том, что одни нанимаются на работу, а другие нанимают их. Одни работают, а другие наживаются на их работе, не доплачивая им за неё.

Кажется просто, но этого бы не понял и его отчим Герасим Петрович Непрелов. Ему, как и миллионам других, не могло прийти в голову, что через семь лет рухнет это царство купцов, фабрикантов, чиновников и жандармов.

Многие ли знали, что «политические», которые сидят в тюрьме напротив кладбища, которых иногда проводят по улицам в кандалах, – хорошие люди?

Маленький Маврик, ты ничего не знаешь. Ты даже не знаешь, что сапожник Иван Макарович, которого ты любишь и который любит тебя, вовсе не сапожник. Не такой простой была жизнь, какой она представлялась многим людям.

Если бы знал Маврик, как много будет значить в его жизни Иван Макарович!

А пока...

А пока Пермь живёт своей жизнью нужды и благополучия. Идёт тысяча девятьсот десятый год, когда, кажется, утихомирилось все и забылись недавние волнения. Волнения тысяча девятьсот пятого года. Он ушёл навсегда и как будто ничто не возвратит теперь эти опасные для империи месяцы.

Купцы Агафуровы расширяют торговлю. Пароходчики Любимовы, Каменские готовятся пустить новые пароходы. На фабриках и заводах тишина. Его превосходительство господин губернатор может безопасно ездить в открытой карете и давать открытые балы. Власть тверда и незыблема.

Так думала, так заставляла себя думать благополучная, богатая, верноподданная, чиновная, купеческая, епархиальная, губернаторская, чернорыночная Пермь.

VI

Когда пришло письмо, прошитое нитками, с печатью из хлебного мякиша вместо сургуча, Екатерина Матвеевна Зашеина, оставив всё, распечатывая конверт, дрожащим голосом сказала:

– Мамочка, от Маврушечки письмо, – и принялась читать вслух: – «Дорогие родители, тётя Катя и бабушка!...»

Этих слов было достаточно, чтобы высокая полная женщина, в очках, которые ей придавали особую солидность, прослезилась вместе с маленькой старушкой, сидевшей на низенькой кровати, покрытой лоскутным сатиновым одеялом. У неё сами собой вырвались слова:

– Конечно, родители! Кто же мы ему?

Написав без единой ошибки первую строку, уместив буквы в линеечки листка, вырванного из тетради, далее Маврик уже не заботился о грамматике и каллиграфии. До них ли ему, когда нужно было рассказать самое главное. О том, как «плохо ему живецца», как поздно приходит мать, как ему «нечего делать в Богородицкой церкви»...

Теперь уже тётушка и бабушка не плакали, а рыдали:

– И за что это всё, за что...

Маврик знал, как тётя Катя боится, чтобы он не простудился, и особенно выразительно написал про холод в квартире: «а вечеромъ холотно здесь и зуббы нипирастають чакадь одинъ обь другой».

Платок был мокр. Екатерина Матвеевна утиралась кухонным полотенцем.

– Что же это, что это, мамочка...

Буквы письма вылезали из строк, прыгали, скакали, будто им тоже было холодно, и от них отскакивали палочки и крючки.

И так три страницы. На одной оставила след слеза, растворившая и размазавшая слово «прииздай».

Екатерине Матвеевне стало трудно дышать. Она подошла к русской печи и открыла дверцу трубы, затем снова принялась читать. Маврик умолял: «Не дожидайся когда пройдетъ летъ на каме, а прииздай на делижанцовых лошадах».

И далее: «буду ждать тибя днём и ночью».

И наконец, подпись: «Учён. 1-ого класса Маврикий Толлинъ».

Валерьяновых капель оказалось недостаточно. Пришлось нюхать нашатырный спирт.

На «бессовестную из бессовестных Любку», то есть на мать Маврика, был исторгнут весь запас ругательств, которыми располагала оскорблённая тётушка. Просолонив слезами полотенце, Екатерина Матвеевна, причитая, жаловалась Мавриковой бабушке:

– Я же как в воду глядела, что так и будет. И как только мы отпустили его? О чём мы только думали? Отчим не отец, и родная мать при втором муже немногим лучше мачехи.

Далее шли «преисподние» и «тартарары» и ещё менее приятные пожелания.

За окном разыгралась метель, усиливая впечатление после прочитанного письма и сгущая краски. Екатерина Матвеевна, видящая теперь Пермь сквозь письмо Маврика, рисовала себе, как он в пургу бродит по занесённым снегом улицам города и ждёт, когда закроется распроклятый Зингеровский магазин, ни дна ему и ни крыши и всем, кто там служит. А здесь такая благодать. Новые обои с голубенькими цветочками так оживили большую комнату, а порыжевший потолок, оклеенный белоснежной матовой бумагой, так хорошо отражает свет лампы. А для кого всё это? Для кого тюлевые новые шторы на окнах и заново покрашенный золотистой охрой пол? Как бы он мог кататься по этому полу на своём трёхколёсном велосипеде, который обиженно стоит в углу вместе с парходами, паровозами, клоуном, бьющим в медные тарелочки, и обезьянкой в зелёном железном сюртучке, лазающей по верёвочке.

Как бы он мог играть в этот вечер! Каким бы сладким был его сон в белой кровати с кисейным пологом! И если она теперь ему стала мала, то разве нельзя было купить новую? А для кого томилось сегодня в русской печи хорошее молоко, которое приносит добросовестная, чистоplotная соседка Кулёмина? Как он любил молочные пенки с белыми слоёными плюшками. А что ест он там?

Дума побивает думу. Один план за другим строит Екатерина Матвеевна и не может придумать ничего путного. Она не может даже потребовать в письме: в корне изменить жизнь Маврика. Тогда «ей и ему» будет известно, что ребёнок жаловался своей тёте Кате, и от этого Маврушеньке будет ещё хуже.

Но утро, которое не только в сказках бывает мудренее вечера, подсказало хорошее решение. Утром пришло второе письмо из Перми. От Пелагеи Ефимовны Толлиной. И она посоветовала «принанять старушонку, которая бы могла доглядывать за Мавриком и сидеть с ним часок до школы и часа четыре после уроков».

Как всё оказалось легко и просто. Нужны были какие-то пять рублей в месяц. Ну пусть семь, и мальчик будет не один в эти месяцы, а потом она перевезёт его сюда, в Мильву.

Через неделю в Пермь пришло обдуманное, хорошо взвешенное письмо и перевод на двадцать пять рублей.

«Дорогая Любочка, – писала Екатерина Матвеевна, – мы знаем из письма Пелагеи Ефимовны, как тебе трудно, поэтому просим тебя...»

Далее подробно указывалось, какой должна быть нанятая старушка и что должна была делать она по уходу за Мавриком. Но в конце письма Екатерина Матвеевна не удержалась и приписала: «Если же ты, Любовь, эти деньги измотаешь на другое, тогда запомни раз и навсегда, что не получишь от меня никогда ни одной копейки, ни одного лоскутка, и я вымолю у бога кару на твою голову...»

И наконец, Екатерина Матвеевна взывала к Герасиму Петровичу, как человеку рассудительному, непьющему и некурящему, исполнить её просьбу относительно единственного племянника и самого дорогого в жизни существа – Мавруши.

Старуха была нанята. Лампа зажигалась засветло. Купили три воза дров. Топили дважды, и стало тепло. Но веселее от этого не стало Маврику. Докучливая и исполнительная старуха Панфиловна, у которой пахло изо рта чем-то тухлым, ревностно выполняла свои обязанности. Она провожала Маврика до школы, как требовала Екатерина Матвеевна, встречала его и вела за руку. И это было унижительно для мальчика, лишённого самостоятельности. Панфиловна

держала его дома, потому что в её годы были затруднительны прогулки на берег Камы, куда рвался Маврик, чтобы посмотреть, не посинел ли, не собирается ли тронуться лёд. Это было всего важнее в его жизни.

Сказки Панфиловна рассказывала плохие. Про жадных попов, про кровавых царей – Злодеянов, Живодёров, Костоглодов. К тому же она часто дремала. И наконец это стало невыносимо. Старуха не облегчила, а затруднила жизнь Маврика.

– Мама, – сказал он, – я не хочу, чтобы приходила Панфиловна. Вечером теперь стало светло, и не нужно зажигать лампы.

Дни очень прибавились. Теплело с каждым днём. Тянуло на улицу, к ручьям, на оттаивающие тротуары. Зачем томить мальчика дома ради того, что так хочет тётка. Зачем платить деньги старухе, у которой такой хороший аппетит, за то, что она спит. Маврик прав, её нужно уволить, а на оставшиеся деньги выкупить из городского ломбарда лисью шубу, сшить чёрную шерстяную юбку и купить Маврику весеннее пальтишко. А если «скупая Катька» заставит вернуть оставшиеся деньги, то их можно выплатить. Летом их куры не будут клевать.

Всё оказалось разумным и правильным. Лисья шуба вернулась из ломбарда и была защита от моли в мешок. Появилась чёрная шерстяная юбка, а затем и фотографические карточки, где папа, мама и Маврик в новом пальтишке стоят у каменной ограды испанского замка. Папа в форме и в фуражке с чиновничьей кокардой. Мама в чёрной юбке и в модном жакете, взятом у знакомых для примерки, и в туфлях на высоких каблуках.

Очень красивая фотографическая карточка. Никто не догадается, каких трудов и забот стоит этот снимок, появившийся для того, чтобы обмануть родных и знакомых запечатлённой на нём беспечной улыбкой Любви Матвеевны, независимым взглядом Герасима Петровича и восторженным личиком Маврика, ожидающего, что из аппарата вылетит обещанный фантограммой фотографом скворец. Скворец! Не какая-то другая птица, а та, с которой приходит весна. Милая, добрая царица Весна-Красна из очень хорошей сказки бабушки Толлинихи.

VII

И бабушкина сказка сбывалась...

Царица Весна-Красна шла и шла в своём солнечном платье. И это платье было столь широко, что нет на свете меры измерить его ширину. А уж долго-то оно так, что и досужий язык ретивого краснобая – малая верста в нескончаемой длине жаркого царевниного подола, протянувшегося далеко за Казань, до тёплых морей за лазоревые Крымские горы. И пока его край, отороченный кружевом, сплетённым из золотых лучей, сметает последние снега с древних киевских земель, пока расковыряет ото льда преславный Дон и священный Днепр, Весна-Красна ступает на камские берега, держит путь на Север через Пермь в Мильвенские леса, в солёные Строгановские земли и дальше на Вишеру, Колву, где стоит старая Чердынь – бабка всех городов и селений малохоженного, мелкокопанного, плохознаемого, лесного, гористого царства скрытых руд, невиданных самоцветов, ненайденной чёрной огненной воды, неслыханных кладов, позапрятанных на дне самого ветхого из всех морей – Пермского моря...

Весна-Красна в этом году рано накрыла своим жарким голубым подолом холодную пермскую землю. Если бы не ночные заморозки, то посиневший камский лёд треснул бы, тронулся и пошёл бы шелестеть, скрежетать, жаловаться на раннее таяние.

Тётя Катя снилась теперь Маврику каждую ночь. Каждую ночь она увозила его на пароходе в Мильвенский завод, но всегда что-нибудь случалось, и он просыпался. То слишком громко свистел пароход и спугивал сон вместе с тётей Катей... То возвращался неверный месяц март и замораживал пароход... То просто-напросто бессердечный будильник заглушал тёти Катин голос и возвращал Маврика из солнечного сна в серое утро...

А сегодня тётя Катя снилась так, что Маврик слышал её голос и боялся открыть глаза. Вдруг сон опять улетит и останется только ночник с розовым стеклянным абажурчиком да насмешливый, недобрый будильник с двумя громкими колокольчиками. Как будто мало ему одного, чтобы прозвенеть людям: «Хватит спать».

Маврик слышал, как тётя Катя говорила:

– Уже десятый час, и цветику-самоцветику пора открыть свои голубые глазоньки.

Но Маврик не мог поверить. Сны вытворяжали всякое. Когда же знакомая рука, от которой пахло как ни от какой другой, потрепала его по щеке, он решил открыть один глаз. Только один, чтобы другим удержать сон.

– Деточка моя, – услышал он, – голубок мой...

Это была она, и он завизжал от радости, обнял её и, заикаясь стал спрашивать:

– Ты не во сне? Ты не во сне, тётечка Катечка?

– Да что ты, да что ты, проснись, моя худышечка... Боже мой, какие у тебя остренькие лопатки... И рёбрышки можно пересчитать... Я ведь ещё вчера приехала... С первым. Ты уже спал. Не хотела будить тебя...

Екатерина Матвеевна тут же, в постели, дала Маврику тёплого молока, мягкую плюшечку и только потом стала помогать ему одеваться.

Маврику там много нужно было рассказать, и ему никто не мешал. Мама и папа давно уже ушли на службу. На будильнике половина десятого. И он говорит об отметках, перескакивает на электрический фонарик, потом начинает рассказывать о Панфиловне, расспрашивает о Санчике...

Рассказывая, Маврик то и дело трогает тётю Катю, проверяя, на всякий случай, не во сне ли она и не исчезнет ли так же, как вчера, как исчезала она много раз.

Екатерина Матвеевна не знает этого и очень боится за «умственное состояние» племянника. Впечатлительные дети порой заболевают по самым непредвиденным обстоятельствам...

С Мавриком ничего подобного не случилось. Он просто измучился и начал заикаться, и немножечко больше, чем раньше. Но скоро она его увезёт, и мальчик снова окажется в хорошей обстановке. От заикания не останется следа. А теперь нужно как можно скорее пойти в город по магазинам, чтобы он знал, как она любит его, и что ей не жаль для него ничего, и она готова истратить все десять рублей, которые отложены только для прихотей Маврика.

Прихотей оказалось не столь много. Нужно было купить фунт мягкой вишнёвой пастилы беззубому сторожу Богородской церкви. Затем побольше колбасных обрезков, чтобы «чайные» и «рябчиковые» съесть без хлеба самому, а остальными досыта накормить ласковую собачонку из соседнего двора и мышей. Наверно, всё-таки одна из них, та, что смело приходила к нему на стол, когда он учил уроки, не простаямышь. Фея не фея, но какая-нибудь добрая девочка, заколдованная мачехой или кем-нибудь ещё.

И наконец нужно было купить жареного миндаля и батареек. Тётя Катя, как и мама, также боится спичек, свечек, огня. И ей будет удобно обходить перед сном с фонариком все уголки дома и проверять, не забрался ли кто и на все ли крючки заперто всё.

Как он повзрослел за эту зиму! Не прибавив в росте и одного вершка к огорчению Екатерины Матвеевны, Маврик очень часто рассуждал не по годам и задумывался над тем, что не должно беспокоить его на девятом году жизни.

Когда жареного миндаля было куплено два фунта, потому что его не найдёшь и днём с огнём в Мильве, Маврик очень серьёзно спросил:

– А останутся ли у нас, тётя Катя, деньги на билеты? – И наставительно, точь-в-точь как это делала бабушка Толлиниха, сказал: – Их нынче надо тратить с умом. Золотые корабли к нам не приплывут.

Тётя Катя испуганно посмотрела на Маврика, глубоко вздохнула и ответила:

– Это верно, Маврушечка, но нельзя же отказывать себе в самом необходимом, – и попросила татарина-лавочника взвесить ещё фунт жареного миндаля на дорогу.

Дорога уже была предрешена. Они поедут послезавтра. В экономной одноместной каюте второго класса на пароходе с негромким свистком.

Как хорошо, что они поедут во втором классе, а не в общей дамской каюте третьего класса, где нет никаких дам и полно тёток в вязаных жакетках, которые всю дорогу тискают Маврика, сажают на колени, нахваливают его кудри и целуют толстыми мокрыми губами, не имея на это никакого права.

Пассажиру второго класса не нужно просить разрешения у толстого капитана побыть немножечко на верхней палубе и потом благодарить его, вежливо шаркая ножкой. Во втором классе можно попросить в каюту телячьи ножки, поджаренные с сухарными крошками и с зелёным горошком, вкуснее которых никогда и ничего не едал Маврик. Разве только пельмени. Но это домашняя, а не пароходная еда.

Как знает тётя Катя все его желания! Какая начнётся теперь у него жизнь! Вернётся всё – и велосипед, и лужок за сараем, по которому можно плавать на самодельном пароходе из старых ящиков и досок. Хорошо бы купить щенка и достать настоящий спасательный круг.

Маврик прикидывается к тёте Кате и громко, не обращая внимания на лавочника, на покупателей, признаётся ей в любви:

– Я люблю тебя со всю Пермь, со всю Мотовилиху, со всю землю и со всё небо... А «им» тоже хорошо будет жить без меня, с другим мальчиком или с другой девочкой.

Екатерине Матвеевне, солидной женщине в очках с золотой оправой, никак не годилось давать волю слезам в бакалейной лавке, а они текли.

VIII

Вот уже всё было готово к отъезду, нужно было только сходить к бабушке Пелагее Ефимовне Толлиной. Маврик вчера побывал на папиной могилке, и тётя Катя велела обложить её новым дёрном. Это сделали тут же, при ней и при Маврике, а потом отслужили панихиду. Мама, хотя и знала, что нужно следить за могилкой, служить панихиды, насыпать зёрен и крошек птицам, но ей было некогда. А у тёти Кати было время. Она не забывала первого папу Маврика и привезла три крашенных яйца. Одно из них она положила на могилу и сказала папе, как живому:

– Здравствуйте, милый Андрей Иванович!

Маврику тоже нужно было поздороваться с папой и положить второе яйцо на могилку, а третье положить на другую, на дяди Володину могилу. Он тоже умер скоропостижно и преждевременно. И тоже от скоротечной чахотки, поэтому Маврику нужно беречь своё горло и завязывать его шарфом даже в тёплую погоду.

Побывал Маврик и у тёти Дуни на собачьем дворе. Пришлось прикупить колбасных обрезков для собак, которые сидят в клетках, потому что их ещё не нашли хозяева.

Зашли проститься и к сапожнику Ивану Макаровичу Бархатову, в подвал с крутой лестницей, и тётя Катя очень боялась оступиться. Но всё равно она спустилась туда, потому что «безнравственно забывать старых друзей». Маврик хотя и не знал, что значит это слово, но понимал, что поступать «безнравственно» – это плохо. Почти бессовестно.

Сапожник Иван Макарович подарил на прощание Маврику маленький молоток и привинтил резинки на каблук его новых башмачков. Тётя Катя преподнесла Ивану Макаровичу штоф с водкой и сказала:

– Спасибо вам, Иван Макарович, за всё, за всё, – и поклонилась ему.

– Что вы, зачем же это, – стал отказываться заметно смутившийся Иван Макарович. – Я же не за это любил и люблю вашего мальчика... Мне, конечно, трудно объяснить вам, но

вообще-то спасибо, поскольку это от чистой души. Когда-нибудь я сумею отблагодарить вас... И вообще... – не досказал Иван Макарович и смущённо улыбнулся.

А что он мог досказать ей? Что она произвела на него очень хорошее впечатление? Что по счастливой случайности он знает о ней куда больше, чем рассказывал Маврик? Что её мельвенский сосед Артемий Кулёмин познакомился с ним в ссылке? Что, рассказывая о своём заводе, говорил и о Зашеиных. А теперь, когда было решено создавать подпольную типографию в Мильвенском заводе, Кулёмин указал на зашеинский дом как на очень подходящий.

Ничего этого не мог сказать Иван Макарович. И он ограничился тем, что узнал о дне отъезда и названии парохода, на котором она отправится с Мавриком.

– Желаю вам, Екатерина Матвеевна, и вашему племяннику всяческого благополучия в Мильве. Я слышал, что это очень хороший и тихий завод.

– Да, да, – подтвердила Екатерина Матвеевна и протянула Ивану Макаровичу руку в чёрной плетёной перчатке. – Желаю и вам благополучия в вашей работе. Прощайся, Маврушечка, с Иваном Макаровичем.

Иван Макарович поцеловал своего барашу в голову и, не заметя того, прослезился.

А бабушка Толлина не прослезилась, прощаясь с Мавриком. Она только благословляла и наставляла внука. Тётя Катя подарила бабушке чёрную косынку. А бабушка ничего не подарила ей. И Маврику тоже ничего.

Как оказалось, Пелагея Ефимовна не сумеет прийти на пристань, чтобы проводить Маврика. Она сказала:

– Во-первых, дальние проводы – лишние слёзы, а во-вторых, умер купец Кунгуров и меня звали читать. За это дадут никак не меньше трёшницы. При моём положении, Катенька, три рубля – большой капитал...

– Конечно, конечно, – согласилась тётя Катя и велела Маврику поцеловать бабушку.

Потом бабушка взяла толстую книгу – псалтырь, – напечатанную церковными буквами, по которой она будет читать у купца Кунгурова, и сказала:

– Я провожу вас до уголка.

На углу бабушка в последний раз поцеловала Маврика и пошла от живого внука к мёртвому купцу, чтобы обогатить новыми рублями свою пуховую копилку-подушку, завещанную Маврику, которого она видит в последний раз. И это прощальное свидание с ним, с единственным человеком, которым она хоть как-то продолжится и останется жить на земле после своей смерти, и есть самое дорогое и самое яркое в этом её последнем году.

И никто, даже тот, кого она называла «всемогущим, всезнающим и живущим в ней», не подсказал ей: «Остановись, многогрешная, в скарденности своей и запечатлись в его памяти доброй улыбкой и не рассказанной тобою сказкой про обманную злодейку Суету-Сует и прекрасную княжну Щедроту-Щедрот...»

Ах, Пелагея Ефимовна, ну зачем вам ходить читать псалтырь по покойникам и копить рубли? Вы же так щедро одарены умением сочинять. Перенесли бы на белые листы напридуманные в длинные бессонные ночи дивные сказки. Не уносите бесценные стоцветные слова в землю на старое кладбище. Оставайтесь жить своими былями-небылями в неистощимой людской любви к прекрасному. Какую бы хорошую память оставили вы по себе вашему внуку, а через него всем добрым людям. Не верите?

Не верите. Вы и не можете поверить. И вас нельзя за это винить. Вы не первый и не последний человек, не познавший себя. Идите добывайте очередной рубль. Его тоже вместе с остальными накопленными рублями выкрадет из подушки косоглазая старуха Шептаева, как только вы в последний раз закроете глаза.

Если бы всё это вы могли знать, как бы много изменилось.

Но тсс... Пелагея Ефимовна оглянулась. Она возвращается к Маврику. Может быть, сейчас произойдёт неожиданность. Зачем-то же она лезет в карман своей кашемировой юбки. Она развязывает узелок носового платка и подаёт Маврику две копейки:

– Это тебе семик на сахарное мороженое. Да не потеряй...

– Не надо, не надо, – прошептал Маврик. – У нас есть деньги...

– Ну-ну... Богач ещё какой нашёлся.

Тут Пелагея Ефимовна сунула в карман куртки внука медную монетку и ушла. Ушла навсегда...

IX

До отвала парохода оставалось более четырёх часов, а делать в Перми уже нечего. Можно бы зайти в городской музей и показать тётке Кате двухголового ребёнка, заспиртованного в банке, но это невозможно. Она тогда не будет есть два дня. Тётя Катя может лишиться аппетита, если ей показать лягушку. И не живую, а нарисованную на картинке.

Можно бы отправиться за богадельню на пустырь. Там гастролируют цирки, балаганы, показывают чудеса заезжие фокусники, факиры, властелины чёрной и белой магии... Там же продаётся владельцем прогоревшего балагана маленькая лошадка пони, которая называется загадочным и прекрасным именем Арлекин. Арлекин позволял погладить себя Маврику, и он мог на нём прокатиться за три копейки два круга. Теперь пони не нужен хозяину, потому что нужны деньги на проезд в Самару, и он продаёт смиренного и ласкового Арлекина.

Неплохо было бы добавить копейку и прокатать бабушкин семик на Арлекине. Но зачем? Зачем ещё раз расставаться, ещё раз обнимать шею, гладить исхудавшие бока и шептать: «Прощай на всю жизнь, прощай, моя маленькая лошадка, тебя, наверно, купят для богатого мальчика, пусть он любит тебя не меньше, чем я».

В нелюбимой квартире на Сенной площади делать тоже было нечего, и тётя Катя сказала, что лучше посидеть на пристани, где свежий воздух, чем слоняться по улицам. На пристани могли разрешить занять каюту раньше времени.

Так и сделали. На бирже наняли извозчика. Извозчик забрал вещи. Их было немного. Мавриковы костюмы с кружевными воротниками, бельё, волшебный фонарь и книжки. Простыней не оказалось, а одеяло совсем вытерлось. А подушки никто не возит в Мильвенский завод, когда там столько пера и пуха продают на базаре. Подушки лучше продать в Перми, а в Мильве купить новые.

Тётя Катя ни за что не захотела садиться в пролётку, пока не вылез извозчик и не подержал лошадь за узду. Лошадь может дёрнуть, когда одна нога находится в пролётке, а другая на земле. Но лошадь не дёрнула. И вообще она, оказывается, не трогалась без громкого «но-но» и кнута. После «но-но» и кнута она бежала тоже «так себе».

– Так рано? – спросила мама.

– Да что же тянуть, Любочка, – ответила тётя Катя.

В магазине было много покупателей. Мама то и дело получала деньги за иголки, за нитки, за машинное масло во флакончике с картинкой, на которой румяная боярышня сидела за ножной машиной и шила в большой букве «З».

Маме не хотелось на прощание расстраивать сына, и она старалась говорить очень весело:

– Я осенью приеду... А лето пролетит незаметно...

Маврик знал, что мама приедет в августе или в сентябре, потому что его братцу или сестрице лучше и дешевле появляться на свет в Мильве, чем в Перми.

Поговорить в сутолоке при посторонних людях так и не удалось. Да и не о чем говорить, когда всё переговорено. Нужно скорее, пока ещё у сына сухие глаза, отдать ему большую коробку с вафлями, пирожным и с десятью катушками прочных ниток для змейков.

– Слушайся тётю Катю. Она тебя любит больше всех.

Маврик получил коробку. Мама поцеловала его и тут же, повернувшись лицом к полкам магазина, громко сказала:

– Теперь идите. Можете опоздать...

Тётя Катя повернула Маврика к двери, и вскоре лошадь снова зацокала копытами по булыжнику. Маврик не плакал, но и не радовался.

Очень хорошо, что он уезжает в свой Мильвенский завод, но было бы лучше, если бы мама не оставалась, а ехала бы вместе с ними в каюте второго класса, а папа мог бы пожить в Перми, если ему нельзя пока не служить в суде.

Маврик прижался к тёте Кате и, заикаясь, сказал:

– Хорошо бы, когда мы приедем в Мильву, послать маме какую-нибудь посылку... Она их очень любит...

Губы Маврика дрожали, как и голос.

Заметив это, тётя Катя пообещала послать очень большую посылку и указала на курно-сого мопсика, которого какая-то барынька вела на цепочке, а он лаял и на столбы...

– Смотри, какая отвратительная пустилайка. Разве такую куплю я тебе, как только приедем домой?

Х

На пристани боцман сказал:

– Четвертак – невелики деньги, зато загодя будете чин чином сидеть в своей каюте.

Тётя Катя с радостью согласилась, и они очутились в беленькой, пахнущей краской каюте. Теперь можно было пробежаться по палубе, ощупать спасательные круги, познакомиться с официантом, который принесёт телячьи ножки, или запереть багаж в каюте и отправиться на берег, где множество лавчонок, ларьков, лотков, где торгуют пирогами, пирожками, жареным мясом, копчёной рыбой, вяленой воблой, кислыми щами, овсяной бражкой, тыквенными семечками, живыми раками, печёными яйцами, красным топлёным молоком... Где торговки кричат, заывают, ссорятся из-за покупателей, сбивают цену, обсчитывают, где мазурики шарят по карманам, шарманщики предлагают купить на счастье билетик, который вынимает из ящика общипанный попугай, где свистят полицейские и забирают воришек, где кишмя кишит народ, куда бы ни за что не пошла тётя Катя, если б не надо было ей отвлечь Маврика.

– Батюшки-матушки, как это мы забыли с тобой купить пеклёванного хлеба и вчерашней «четырешки» для чаек.

И они идут через пристань по мосткам, навстречу потоку крючников-грузчиков с большими кулями. То и дело слышится «эй, поберегись». С грохотом катятся тачки с ящиками, с тележными колёсами... Пахнет весенней рекой, смолой, воблой. Множество запахов. Тьма людей. Славно журчит под мостками Кама, а на берегу ещё веселей.

Екатерина Матвеевна покупает свежий пеклёванный хлеб, потом вчерашнюю «четырешку», вместо четырёх копеек фунт – по три. Тётя Катя не жадная, а бережливая. Чайкам всё равно. Чайки не разбирают, вчерашний или сегодняшний хлеб им бросают.

Думая о чайках, Маврик безразлично смотрел, как взвешивается хлеб, как расплачивается тётя Катя.

– Хорошо бы, – мечтательно сказал он, – наловить чаек корзины две, увезти с собой в Мильвенский завод... Прикармливать каждый день, и развелись бы у нас в Мильве чайки.

Екатерина Матвеевна хотела было одобрить затею, но послышался голос:

– А я тоже еду в Мильвенский завод...

Маврик и Екатерина Матвеевна оглянулись. Перед ними стоял темноволосый мальчик с огромными чёрными глазами.

- Ты кто? – спросил Маврик.
- Я Иль!
- Такое имя?
- Да. Так зовёт меня папа, а мама – Ильюшей. А тебя как зовут?
- Мавриком. А на каком пароходе ты едешь, Иль?
- На том же, что и ты.
- А в каком классе?
- Мама, я и Фаня во втором, а папа в третьем.
- А почему он в третьем?
- Так ему больше нравится.

Мальчик производил хорошее впечатление на Екатерину Матвеевну. На нём была хотя и старенькая, но чистая, тщательно заштопанная куртка. Смугловатое лицо, уши, нос тоже были безупречно чисты, и густая шевелюра, отливающая на солнышке, кажется, тоже была вполне в приличном состоянии. Кроме этого, он едет во втором классе. И самое главное, мальчик поможет Маврику скоротать время до отвала парохода. Екатерина Матвеевна сказала:

- Сейчас мы выйдем из толчеи и начнём знакомиться...

И они втроём направились к Козьему загону. Черноглазый весёлый Ильюша понравился Маврику, а Маврик – ему. Они сдружились и выяснили всё, не сделав и ста шагов. В этом возрасте люди не требуют многих подробностей. Маврик будет учиться во втором классе, и он во втором. Маврику было трудно жить в Перми. И ему было нелегко. Разве этого недостаточно?

Но Екатерине Матвеевне хотелось знать больше, и она спросила:

- Кто твой папа, Ильюша?

– Мой папа штемпельщик. Он умеет делать очень хорошие штемпеля и печати. Вот посмотрите.

В доказательство мальчик вынул из кармана куртки небольшой штемпель, подышал на него, затем отпечатал им на своей руке – «Илья Киришаум».

– Какая прелесть, – похвалила Екатерина Матвеевна прочитанный оттиск. – Только зачем же ручку-то пачкать?

- А на чём же я мог показать?

Видя, что довод неотразим, Ильюша лизнул напечатанное на руке и стёр рукавом, доказывая этим, что только так, а не иначе он мог поступить.

- А кто твоя мама, Ильюша?

– Она теперь просто мама. Нас же двое у неё. Фаня ещё ничего, а меня приходится воспитывать. А вообще-то мама – наборщик первой руки. Но что ей платили? Жалкие гроши. Папа тоже зарабатывал мало у своего хозяина. Зато хозяин неплохо зарабатывал на папе.

Екатерина Матвеевна, внимательно слушая, отлично понимала, чьи слова повторяет маленький говорун.

- И вы решили переехать в Мильву?

– Не в Екатеринбург же нам ехать? – снова серьёзно принялся рассуждать мальчик. – В Екатеринбурге штемпельщиков больше, чем клопов в ночлежном доме. А в Мильве папа будет один. Ну пусть два. Типография Халдеева тоже пробует делать штемпеля и печати, но это же не печати, а сырые блины.

Выговорившись и расположив к себе Екатерину Матвеевну, Ильюша попросил разрешения побегать с Мавриком по Козьему загону.

- Я буду козлом, а ты будешь меня загонять.

Маврик с радостью согласился. Что ещё лучше можно было придумать до первого свистка. Козлом Ильюша оказался преотличнейшим. Он бегал на четвереньках, подымался и кричал «ме-е-ке-ке». Требовал афиш, заявляя, что афиши его самый вкусный обед.

Сидя на лавочке Козьего загона, Екатерина Матвеевна любовалась двумя кудрявыми головками, мечущимися по большому, безлюдному в эту пору дня набережному саду. Сентиментальная и в меру мечтательная Екатерина Матвеевна думала о встрече Маврика с Ильюшей, в котором тоже так рано проглянул взрослый человек.

XI

Отец Ильюши Григорий Савельевич Киришбаум и был тем самым организатором подпольной типографии, которого Иван Макарович Бархатов всячески стремился поселить в зашеинском доме. По замыслу Ивана Макаровича и Киришбаума, знакомство должно было состояться на пароходе. Анна Семёновна Киришбаум должна была разговориться с Екатериной Матвеевной, но всё оказалось проще, естественнее и быстрее.

Киришбаум не знал в лицо Екатерину Матвеевну, но узнал её по приметам. Очки в золотой оправе. Чёрная кружевная косынка. Степенна в походке, взгляде и разговоре. Родимое пятно на подбородке. И наконец, самая безошибочная примета – кудрявый, голубоглазый мальчик в бархатном костюмчике с белым кружевным воротником. И когда Киришбаум увидел Маврика на мостках вместе с его тёткой, он сказал сыну:

– Иль, не лучше ли, чем сидеть на багаже, познакомиться с этим мальчиком? Вам же вместе ехать...

И тогда Ильюша пошёл за Мавриком и его тёткой. А теперь они возвращались втроём. Екатерина Матвеевна вела за руки по шумным мосткам обоих мальчиков.

– А это, тётя Катя, моя мама, мой папа и моя сестра, – сказал Ильюша, подводя Екатерину Матвеевну к своей семье, сидящей на багаже.

– Илья, ты с ума сошёл, – оговорил его отец, – может быть, госпожа, которую ты так невежливо называешь тётей Катей, и не желает знакомиться с нами...

– Ну как вы можете так, – смущённо сказала Екатерина Матвеевна, протягивая руку. – Здравствуйте, Анна Семёновна, здравствуйте, Григорий Савельевич...

Киришбаум оживился, пожал плечами и весело сказал:

– Как? Этот маленький чертёнок уже предал своих родителей?..

– Так нельзя, – остановила его Екатерина Матвеевна. – Так нельзя называть младенца, Григорий Савельевич...

Не договорив, она услышала:

– Бараша-кудряша!

Маврик оглянулся. Ну конечно, это он, сапожник Иван Макарович Бархатов.

– Как вы любезны, – сказала ему Екатерина Матвеевна.

А он:

– Как на шиле сидел всё это время. Дай, думаю, сбегаю на пристань. Невелико время полчасика, а помнить не один год будешь.

Иван Макарович Бархатов на пристани оставался недолго. Ему нужно было, чтобы Киришбаум увидел его разговаривавшим с Зашеиной и Мавриком. Бархатов нарочно громко называл Екатерину Матвеевну, а Киришбаум, проходя в это время на пароход, тоже громко сообщал своей жене:

– Теперь я вижу, что не только ты считаешь меня пентюхом, но и другие...

– Ильюша, Ильюша, – предупреждающе крикнул Маврик, – осторожно по сходням...

– Я знаю, я знаю, – отозвался Ильюша. – И ты иди. Сейчас засвистит второй.

Бархатов понял, что его опасения были напрасны. Он мог бы и не приходить на пристань. Ему очень хотелось сказать Маврику об Ильюше: «Какой хороший у тебя новый знакомый», но большая конспирация не терпит и малых промахов. Поэтому Киришбаум и Бархатов на прощание даже не обменялись взглядами.

Иван Макарович не стал дожидаться второго свистка.

– Прости, мой дружок, тороплюсь. Не забывай меня...

– Никогда. Никогда, – ответил Маврик и протянул руки к шее Бархатова.

– До свидания, Екатерина Матвеевна, – сказал Бархатов и поцеловал ей руку.

«Бывают же и среди сапожников обходительные люди, – подумала она. – Конечно, может быть, он зашёл по пути. Но всё равно нужно быть благодарной ему. Хоть один человек да проводил Маврика. Пусть не до третьего свистка, но проводил».

– Маврик обязательно вам напишет, Иван Макарович... Дай бог вам всего хорошего...

И они расстались.

Маврик в кармане своей куртки обнаружил надувного чёртика и пачку с множеством картин для волшебного фонаря.

– Ты смотри, тётя Катя, – радовался мальчик, – папа не сумел разыскать их, а он разыскал...

Это были картинки к сказкам «Конёк-горбунок», «Про братца Иванушку и про сестрицу Алёнушку» и особый пакетик с картинками к рассказу Л.Н.Толстого «Бог правду видит, да не скоро скажет».

– Как это хорошо, как это хорошо с его стороны, – твердила Екатерина Матвеевна и в первый раз в жизни подумала, что за такого человека она, может быть, и могла бы выйти замуж. Правда, у него не очень чистые руки... Они, кажется, в дратвенном вару... Но зато сам он чистый и, безусловно, честный человек.

ХП

Третий свисток засвистел скорее, чем думал Маврик. Пароход постоял ещё с полминутки, потом убрали сходни. Послышалась команда:

– Отдать носовую, – и зашумели плицы колёс.

Потом отдали кормовой канат с большой петлёй. Петля шлёпнулась в воду и стала ползти на пароход.

Пароход шёл против быстрого течения всё ещё прибывавшей воды вверх по Каме. С пристани махало множество рук, зонтов, шляп, платков. Маврик тоже махал тёти Катиным кружевным платком. Не им, а городу. Вокзалу. Перми первой, Козьему загону, белым домам, мощёным, оживающим весной улицам, и маме. Прощай, Пермь, с театральным садиком и городским музеем. Прощайте, Богородская церковь и школа Александры Ивановны. Прощайте, Геня-паровоз и мальчишки-вагоны. Пассажирские, почтовые, служебные. Пусть вы и не очень хорошо относились к товарному вагону и никогда не разрешали ему быть хотя бы багажным вагоном, но всё равно Маврик не сердится на вас и не желает вам колов и двоек. Это безнравственно.

Маврик смотрит на похорошевшую и ожившую в мае Пермь, жалеет и не жалеет её. Пусть смутно, но всё же он начинает представлять, что есть две Перми. Пермь богатых и Пермь бедных.

Ему ещё много надо прожить, чтобы понять, как устроена жизнь и почему у одних есть всё, а у других ничего или очень мало, хотя и теперь он задумывается об этом, глядя на оборванных людей, сидящих внизу на корме парохода между канатами и клеткой с живыми цыплятами. На корме едут и дети. Они с удовольствием съели бы всю «четырёхку», потому что едят чёрный хлеб с солью. Значит, он, и тётя Катя, и мама с папой живут лучше их. А они едут даже не в третьем, а в четвёртом классе, где общие нары и железный пол.

Пермь остаётся позади. Всё меньше и меньше становится высокий кафедральный собор, от которого так недалеко мама получает деньги за иголки, за нитки, за масло для швейных машин.

Вспомнив о маме, Маврик вспоминает о копейке, которую она дала ему, чтобы подарить её Каме. Это нужно делать каждый год при первой встрече с рекой, чтобы она была доброй и в ней нельзя было утонуть.

Маврик находит в кармане монетку и бросает её в воду. Чайки кидаются за ней, думают, что это хлеб, но монетка тонет в сероватой воде, и птицы остаются ни с чем. Это смешит Маврика, но ненадолго. Он снова думает о маме, о папе, о бабушке, об Арлекине, о белой собачке в клетке, о серой осиротевшей мыши, совсем забывая, что рядом с ним стоит тётя Катя и что от неё нельзя ничего спрятать. Она знает, о чём он думает.

– Милый мой, не нужно вспоминать обо всём этом. Тебе ещё рано морщить лобик. Пусть всё остаётся за кормой парохода, – сказала она и махнула рукой на берег. – Пойдём лучше на нос и будем смотреть вперёд.

Екатерина Матвеевна увела племянника на нос парохода.

Нелегко пароходу бороться с могучей внешней водой. Наверно, кочегары сейчас подбирают и подбрасывают в котлы большие поленья, чтобы пароход мог хоть как-то ускорить свой ход против течения.

Деревья выше колен в воде, а некоторые даже по макушку. Низкие берега залиты далеко-далеко, а высокие берега зажимают Каму так, что река не течёт, а мчится.

Скоро будет видно, как впадает в Каму очень красивая река Чусовая. И вообще, есть на что смотреть с парохода. Берега становятся выше и круче. У каждого из них свой цвет. Попадают встречные буксиры, плоты и баржи. Разглядывать их тоже интересно, а Пермь всё равно стоит перед глазами, хотя она и далеко за кормой парохода, за многими поворотами реки.

Конечно, нужно смотреть вперёд, но не оглядываться тоже невозможно. Потому что человек – не пароход. У него ничего не остаётся за кормой, а всё сохраняется в нём и с ним. В нём и с ним хорошее и плохое. И ничего нельзя выгрузить, оставить на какой-либо из пристаней и забыть, потому что он человек, а не пароход. Но...

Но всё-таки нужно смотреть вперёд.

Вторая глава

I

От камской пристани до Мильвенского завода не так далеко, но и не близко. Екатерина Матвеевна перед отъездом сговорила с кузнецом Яковом Кумыниным, чтобы он подал свою смирную Буланиху, а потом послала ему телеграмму, какого числа и во сколько придёт пароход. Она могла бы нанять крестьянскую лошадь и не платить Кумынину за прогон на пристань и обратно, да ещё подённую за потерянный на заводе день. Однако же Яков Евсеевич повезёт не тряхнув, захватит одеяла и подушку для Маврика, постелет в коробок хорошего сена, прихватив на случай ненастной погоды большую старую столовую клеёнку.

Киришбаумы наняли крестьянских лошадей. Они еле разместились со своим багажом на двух телегах. Илюша, вчера допоздна просидевший со своим новым товарищем на палубе, теперь сладко спал подле матери. Маврика, тоже сонного, уложили в коробок, где он, укрытый тёплым стёганным одеялом, проспал всю дорогу до Мёртвой горы, с которой открывался вид на Мильву.

Очень не хотелось будить его на горе, но это было ему обещано, а не сдержать обещанное невозможно. Правдивость и в мелочах для Екатерины Матвеевны была святая святых. «Как я могу требовать с ребёнка того, что не выполняю сама!»

На вершине горы Буланихе было сказано «тпру», и она, довольная, остановилась, а Екатерина Матвеевна сказала:

– Мавреночек, я сдержала своё обещание, но, если не хочешь, можешь не просыпаться. Мы потом сходим с тобой на Мёртвую гору, когда пойдём навещать дедушку.

Маврик встрепенулся, широко раскрыл глаза, сбросил одеяло, выпрыгнул из коробка и громко крикнул:

– Мильва!.. Мильва!..

Ему хотелось крикнуть что-то ещё, может быть «милая» или «здравствуй», но не хватило воздуха. Он задохнулся, увидев огромный пруд, освещённый солнцем, разноцветные дымы заводских труб, дома и улицы, начинающие зеленеть деревья и всё, что называлось таким дорогим словом «Мильва» и даже «Мильвочка».

Редкий человек, приезжая в Мильву, знающий её или видящий впервые, не останавливается на этой горе и не любит панорамой Мильвенского казённого завода.

Сам завод находится в глубине большой зелёной долины, ниже плотины пруда. Так ставились почти все старые уральские и приуральские заводы, где падающая вода была главной силой, приводящей в движение плющильные и прокатные станы, мехи доменных печей и всё, что было не по силам коням и людям. Теперь пар потеснил воду, но всё же не заменил её полностью. Могучий Мильвенский пруд и по сей день отдаёт свои силы многим цехам завода.

Заводом здесь называют не одни лишь фабричные корпуса, но и самый заводской посёлок. Завод в понятии мильвенцев – это не село и не город, а нечто стоящее между ними. В центре Мильвы плавят сталь, прокатывают и куят железо, сооружают котлы, корпуса судов, а по улицам бредут стада коров и овец, в конюшнях ржут лошади, на дворах гогочут гуси, квохчут куры и хрюкают свиньи.

У Мильвы свой запах. Она пахнет и фабричным дымом и прелой, унавоженной землёй огородов. И тот же Яков Евсеевич Кумынин на заводе кузнец, а дома сельский житель. У него богатый огород, корова, буланая лошадь, две овцы, свинья, гуси и куры, а он ни мужик, ни крестьянин, а мастеровой человек, как в большинстве жители Мильвы, которых «кормит завод-батюшка, а подкармливает земля-матушка».

Для Маврика пока ещё непонятны эти особенности и подробности жизни родного завода. Ему сейчас важнее всего увидеть дедушкин дом, а он не может его найти среди множества домов, сгрудившихся в низине.

– Да вон же он, вон, – говорит Яков Евсеевич, – с красной железной крышей, куда я указываю пальцем, подле тополей.

Теперь можно ехать.

Под гору Буланихе легко бежать. Она, чуя близость скорой кормёжки, весело помахивает хвостом. Маврику хочется пересесть на козлы, но из коробка тоже видно отлично, как начинается Мильвенский завод. Он начинается не обжитыми ещё «концами» улиц. Здесь не все дома достроены. Некоторые из них стоят непокрытыми срубами. Нет изгородей. Нет сараюшек.

Чем ближе к центру, тем больше и чернее деревянные дома. Каменные начнутся в самом центре. Их не так много, и все они двухэтажные, но есть один трёхэтажный дом – это дом Чураковых. В нижнем этаже чураковский магазин, а в двух верхних живёт нотариус Шульгин с женой и дочерью Ниночкой, которая хочет и пока не может выйти замуж. Большой дом и у провизора Мерцаева. У него своя аптека и сын Игорь. Он старше Маврика на два года. У него настоящие сабли и ружья. Игорь не водится с Мавриком. Ему неинтересно. Может быть, теперь он обратит на него внимание? Ведь Маврик – ученик второго класса.

А вот дом старого уважаемого мастера Матушкина. Скромный такой дом, с приветливыми окнами и добрым крылечком. Дома, как и собаки, похожи на своих хозяев. У гостеприимного и сердечного человека никогда не бывает злой и кусачей собаки. Они просто не уживутся вместе в одном доме. Жадный, скаредный хозяин не может держать ласкового пуделя, как не может любить бездельничающая пустая дама умную собаку. У неё болонка-пустолайка. Обо всём этом так хорошо рассказывал Маврику милый Иван Макарович, на которого очень походит улыбающийся кулёминский деревянный дом с резными наличниками. Так и кажется, что его строил Иван Макарович.

За чопорным домом Чураковых Буланиха сама свернёт влево, на Большой Кривуль. На углу Большого Кривуля и Ходовой улицы – дедушкин, похожий на бабушку, дом.

– Ба-буш-ка-а-а!.. Я приеха-а-ал!

Маврик закричал так громко, что о возвращении Маврика узнали все соседи и, конечно, Санчик, проснувшийся с солнышком. Оказывается, он сидел на воротах, чтобы первым увидеть Маврика и броситься к нему навстречу.

– Санчик!

– Маврик!

Мальчики обнялись.

Из окна хмурого кирпичного краснобаевского дома послышался весёлый женский голос:

– Вызвали Маврикия Андреевича? С приездом, Екатерина Матвеевна! Здравствуйте...

– Здравствуйте, – ответил Маврик, наскоро раскланявшись, и побежал вместе с Санчиком к бабушке.

Какое счастливое солнечное утро. Как пахнет распускающимися тополями, как хорошо в объятиях своей бабушки, при которой не нужно думать, как себя вести, что можно и что нельзя говорить.

– Бабушка... Я приехал, бабушка... Навсегда. На всю жизнь!

– Дитяtko моё, – обнимает его старушка. – Мой маленький Матвей Романович, зашеинская кровушка, дедушкина кудрявая головушка, бабушкины глаза... Дождалась, дожидла!

– И я дожил, бабушка... Где велосипед?..

II

Мальчики с Ходовой улицы ещё не знают, как следует им отнестись к новичку в плюшевом костюмчике с белым кружевным воротником. Принять ли его в свою ватагу или начать дразнить, как поповского сына Лёвку, и придумать обидное прозвище? «Неженка», «Полосатик» – Маврик приехал в полосатых чулках. «Зашейная жужелица» – по дедушке он Зашеин. «Поганый гриб» – у Зашеиных в пустующем огороде растёт уйма шампиньонов, которые в Мильве считаются несъедобными, погаными грибами. Можно прозвать и просто «Поганкой». Должно же у него быть какое-то прозвище, как у всех на Ходовой улице. Ну, а если зашеинский внук окажется «ничего себе» и разует, как они, не начнёт воображать из себя городского, то можно прозвать как-нибудь получше.

Маврику и Санчику, нашедшим друг друга, не было дела до мальчишечьего сбора на улице. Им нужно скорее по одному разику прокатиться на велосипеде, проверить, цела ли ёлочная коллекция, побывать в старой бане, слазить на сеновал, заглянуть в погреб, заново покрытый, как все строения, железом, потому что поросшие зелёным мхом тесовые крыши сгнили и стали теперь ещё не распиленными дровами. Вот бы в Пермь все эти доски!

Кажется, не хватит дня, чтобы всё проверить и осмотреть. А проверить нужно ещё очень много. Маврик должен знать, вывелись ли скворчата, или скворчиха всё ещё сидит в скворечнице и высиживает их. Очень важно решить, что можно сделать с грудой старого кирпича. Не соорудить ли из него кафедральный собор или пермскую тюрьму? Если тюрьму, то можно по очереди одному быть арестантом, а другому стражником.

Санчик согласен на всё. Он моложе на один год Маврика и чувствует себя при нём. Он знает, что хотя старший товарищ никогда не обидит его, но всё же он старший. И ему нужно быть капитаном, а Санчику помощником. А если они вздумают играть в церковь, то Санчик не может стать священником, а всего лишь диаконом. Но в церковь лучше играть зимой, а сейчас, летом, играй хоть во что. В охоту на тигров. В шарманщиков. В бродяг, которые в бочке переplывают Байкал. Бочка есть, а Байкалом может быть двор или лужок за сараем. Но лучше всего играть в пароход. Верёвок для чалок много. Старая труба от железной печки ничуть не хуже паровой, а большая кованая четырехрогая «кошка», которой достают упавшие в колодец вёдра, самый настоящий якорь. Котлом может стать медный ведёрный самовар. Он также валяется.

– Давай, Санчик!

– Давай...

Нелегко сделать хороший пароход, но можно, если не пожалеть сил и не бояться испачкаться. Корму и нос лучше всего выложить из старого кирпича, а первый и второй классы сделать из ящиков, палубу из досок, а мачту... Мачта найдётся – был бы пароход.

И вот уже за сараем на лужке закладывается пароход. Приличный пароход, но не такой, каким он мог бы быть, если бы мышь оказалась феей. А она не оказалась ею. Зато пришёл другой волшебник, который может сделать всё.

– Здорово, паровозики!

– Здравствуйте, Терентий Николаевич!

– А корма-то кося и нос с изъёмом, – говорит он и подымает Маврика своими сильными руками, чтобы лучше рассмотреть его.

Терентий Николаевич Лосев теперь на пенсии. У него старый-престарый дом на Лесной улице. К пенсии ему приходится прирабатывать где придётся. Для Екатерины Матвеевны он незаменимый мастер. Подновить ли сруб погреба, наколоть ли дров, починить забор, подмести двор, вставить стекло в раму – всё может Терентий Николаевич.

Екатерина Матвеевна дорожит Терентием Николаевичем. И он дорожит хорошим к нему отношением. Сегодня у него особые поручения.

– Тереша, дорогой, – попросила его Екатерина Матвеевна, – Мавруше нужно не дать заскучать без матери... И я, Терешенька, всё согласна сделать, лишь бы отвлечь его...

– Катенька! Катерина Матвеевна, не толкуй ты мне, пожалуйста, зря. Зачем-то же струмент при мне. Неужели я сам не знаю, что понадобится собачью будку сколачивать! Щеночек-то у меня уж совсем подрастает. Через неделю можно брать, – говорит и смеется весёлый Терентий Николаевич, размахивая огромными ручищами.

– За это спасибо тебе, Терентий Николаевич. Щеночек пусть растёт, а пока нужно строить пароход.

– Что ж, можно и пароход. Старых досок достаточно. И краска от ремонту, – он делает ударение на первом слоге, – осталась. Только я покурю для разгона, чтобы в голове не шумело...

В ответ на это Екатерина Матвеевна сдержанно наливает в гранёный стакан «разгонное».

Они понимают друг друга.

– Теперь можно хоть пруд прудить, хоть мосты мостить, – говорит Лосев, закусив выпитое куском рыбного пирога.

А потом, оказавшись за старым сараем, Терентий Николаевич незаметно для мальчишек, а может быть, и для самого себя, входит в игру.

– Ненадёжно, господа судовые мастера. На этакой посудине и утонуть недолго, а уж на мель сесть – как пить дать. И палуба низка, и в каюте двум котам не разойтись.

Маврик не спорил. Он знал, что Терентий Николаевич говорит плохо о начатом пароходе не для того, чтобы посмеяться, а чтобы сделать лучше.

Так и случилось.

Терентий Николаевич вбил пять кольев, обшил их досками, и получился почти настоящий нос парохода. С него уже можно было бросать настоящую чалку и отдавать якорь.

Ямка за ямкой – четыре ямы, четыре столба. Опять доски. Доски с боков, доски сверху.

Тётя Катя зовёт обедать, но до обеда ли, когда прорезаются окна и вставляются настоящие рамы со стёклами, валявшиеся в каретнике.

– Шабаш! – командует Терентий Николаевич. – Свисток на обед. – И он свистит куда громче и «настоящее» Гени Шаньгина.

В кухне накрыт стол. Деревянные ложки, общая чашка, а в чашке уха. Всё по-настоящему. Кормят, как плотников, которые рубили новую баню, когда Маврик был маленьким.

– Пожалуйста, рабочие люди, садитесь за стол, – приглашает тётя Катя и отрезает по большому ломтю ржаного хлеба каждому.

Маврик не знает, что всё это делается для того, чтобы он ел. Ел с аппетитом и здоровел. И Маврик ест. Он решительно откусывает от ломтя чёрный хлеб, зачерпывает за Терентием Николаевичем полную ложку ухи, дует на неё, а потом проглатывает и счастливо улыбается, переглядываясь с тётей Катей. Она не ест. За этим столом на кухне могут есть только рабочие люди. И они едят. Уписав уху, принимаются за гречневую кашу с маслом. Тоже из общей чашки и теми же деревянным ложками.

После обеда Терентий Николаевич набивает махоркой свёрнутую из белой бумаги сигарку и долго курит её, а потом, видя нетерпение Маврика, говорит:

– Шут с ней... Пошли на пароход...

И мальчики с шумом и криком бегут за Терентием Николаевичем.

III

Терентий Николаевич увлёкся строительством парохода не меньше ребят. Наверно, в его шестьдесят с лишним лет проснулось недоигранное детство. Он рано пошёл в судовой цех нагревать заклёпки. С тех пор от темна до темна Лосев проработал без малого пятьдесят лет в судовом цехе. Помешала болезнь, случившаяся «от надсады». Уж он-то знал, какие бывают пароходы.

Не подёнщины ради, не ради отплаты покойному мастеру Матвею Романовичу за его добрые дела, а для своей душеньки строил он, потому что дитё должно жить во всяком старике, ежели он «путный человек».

Терентий Николаевич себя чувствовал «путным человеком», поэтому понимал, что пароход без дыма всё равно что собака без голоса.

– Катенька! Ты не бойся, дорогая моя, – увещевал он. – Ну какой же может быть пожар, если в старый самовар накласть угольев, поверх их навалить сосновых шишек, а лучше ладану. Дымить будет так, что и ты залюбуешься.

Екатерина Матвеевна колебалась – можно ли играть церковным ладаном, которого осталось с фунт после похорон Матвея Романовича.

– Так не в кабаке же он будет дымить, Катенька, – продолжал убеждать её Терентий Лосев, – в божье же небо дым от него пойдёт. И Матвею Романовичу оттуль будет видно, как хорошо живётся-играется его внучоночку.

Это решило исход дела. Ладан был выдан, и пароход задымил сизым, пахнувшим церковью дымом.

Маврик и Санчик завизжали от восторга. На заборе появился босой розовощёкий мальчик. Это был Толя Краснобаев. Маврик сразу же узнал его и зазвал к себе.

– Хочешь быть рулевым? Ты умеешь править?

– Нет, – застенчиво признался Толя, – я лучше пока побуду матросом.

Следом за Толей на заборе показался его брат Сеня. Он был старше Толи, но ниже его ростом, зато коренастее и крепче. Тётя Катя называла его «очень самостоятельным мальчиком», которому можно доверять, и предложила заведовать «котлом» и подсыпать в самовар, то есть в котёл, уголь и ладан.

Сеня, довольный этим, серьёзно мотнул головой, понимая, какая ответственность возлагается на него.

Не хватало матросов. Маврик вышел через калитку и сказал ребятам, приникшим к щелям забора:

– Нужны матросы, пассажиры и грузчики.

Ребята переглянулись. Смелые на улице, не все из них набрались храбрости появиться на зашеинском дворе, где они никогда не бывали. Выручил Толя:

– Маврик, ты иди и свисти, а я выберу, кому кем быть.

Засвистел пароходный свисток. Засвистел он не ртом Терентия Николаевича, а резиновым кругом, к которому была приделана свистулька. Отвернёшь у круга запорную шайбочку, затем сядешь на круг, из него начнёт выходить воздух, и он засвистит, а потом опять надувай и садись. Сколько раз сядешь, столько и свистнет.

Трижды надули круг. Трижды просвистел пароход. Тётя Катя, бабушка, Терентий Николаевич, Толина и Сенина мама остались на «берегу».

– Отдать носовую, – скомандовал Маврик.

И носовую начали выбирать.

– Руль налево. Отдать кормовую. Полный вперед.

И пошёл белый, крашенный известью пароход с чёрной трубой на всех парах. Замахали руками на «берегу». Направо-налево поворачивает Санчик рулевое колесо. Ходит капитан Маврикий Андреевич по палубе и смотрит в маленький тётки Катин бинокль, велит то с того, то с другого бока махать встречным судам белым флагом, сделанным из носового платка, раздувает во всю мочь Сеня котёл-самовар, и валит сизый дым из трубы с красной полосочкой...

Маврик не может сдержать себя... Прыгает в «воду» с верхней палубы и сначала «плывёт», а потом бежит по зелёной «воде»-мураве к тётке Катечке, целует её, целует Терентия Николаевича и благодарит за пароход, за свисток, за дым, за красную полосочку на трубе и за всё, за всё...

Умилённая Екатерина Матвеевна приглашает всю команду, всех матросов, всех грузчиков и пассажиров на обратном пути из Рыбинска остановиться в старинном городе Сарайске, где будет выдано угощение.

Растроганный Терентий Николаевич не выдерживает... Он вышибает ладонью пробку из шкалика, выпивает его через горлышко и, притопывая, поёт:

И-эх! Пароход плывёт по Каме,
Баржа семечки грызёт.
Мил уехал напокамест,
Он обратно приплывёт.

И пока под тесовым обломом сарая готовится немудрёное угощение, пароход успевает сходить в Рыбинск и вернуться обратно. Терентий Николаевич тем временем сколотил на скорую руку пристанские сходни.

Маврик смотрит в бинокль и объявляет всем:

– Скоро Сарайск!

И все оживляются:

– Вон, вон... Я тоже вижу! – кричит Санчик. – Полна пристань народу.

Как хорошо бы сюда Ильюшу и молчаливую девочку Фаню. Уж она-то бы могла стать пассажиркой первого класса... Вы представляете на ней тёмную, оставшуюся от траура вуаль... В руках у неё чёрный страусовый веер... Длинные чёрные, тоже тётки Катины, плетёные перчатки... И все наперебой:

«Барышня... Позвольте мне снести на берег вещи...»

«Нет, ваша светлость, позвольте уж мне... Я задаром... Мне не нужны никакие чаевые...»

А она, не глядя ни на кого, отвечает:

«Ах, зачем же... У меня только лакированная шляпная картонка и ридикюль песочного цвета. Могу и сама...»

Но Фани нет. Первый класс есть, а в нём некому ехать. Как же мог Маврик не вспомнить о своих новых друзьях... И только теперь, когда пароход так торжественно причаливает к Сарайску, он вспомнил о них. Как это нехорошо и, наверно, безнравственно.

IV

Киришбаумы нашли временное пристанище в Гольянихе. Так по имени старой деревни назывались концы Замильвья, где тосковал Ильюша, требовавший и ночью сквозь сон отвезти его на Ходовую улицу. Но Киришбаумам было не до встреч Маврика и Ильюши. Не состоялись более важные встречи. Киришбаум, конечно, мог бы в поисках квартиры забрести в дом Артемия Кулёмина. Мог бы через него встретиться со своим питерским другом Тихомировым, сосланным в Мильву. Здесь, в благополучной Мильве, слежка не так строга, как в Перми. Тихомиров мог бы с главой подполья, стариком Матушкиным, оказаться на весенней охоте и

встретиться с Киришбаумом в лесу, на болоте. Однако Киришбаум свято хранит истину, преподанную ему Иваном Макаровичем: «Никогда не думай, что ты самый хитрый».

Рисковать было нельзя. Уже давно известно, что большие дела чаще всего проваливаются на мелочах.

Во всех случаях Киришбаум должен был побывать у пристава. Без его разрешения он не мог открыть своего заведения. И он, не теряя времени, отправился к приставу.

Пристав Вишневецкий был в самом хорошем расположении духа. Вчера он получил от губернатора благодарственное письмо. Счастливый пристав расхаживал по своему кабинету, заново меблированному купцом Чураковым заказной вятской мебелью из карельской берёзы, любясь новым мундиром, сшитым другим дельцом, владельцем магазина готового платья, и радуясь солнечному дню, обещающему весёлый пикник в ознаменование губернаторского письма.

– Адъютант! – крикнул за дверь пристав. – Кто ко мне?

«Адъютантом» на этот раз был неуклюжий, толстый дежурный, урядник Ериков. Он вошёл и, стараясь казаться молодцеватым, каким он не был и в давние молодые годы, доложил:

– Имею честь, ваше благородье... господин из Варшавы.

– Проси.

Григорий Савельевич Киришбаум ещё не знал, как себя вести с приставом. Взять ли на себя роль гонимого судьбой или воспользоваться испытанной маской неунывающего местечкового искателя грошового счастья. Но, увидев блистательного Вишневецкого, а до этого услышав его грассирующий голос, Киришбаум сразу же нашёл нужный тон. Почтительно поклонившись и задержав голову склонённой, затем, дождавшись приглашения сесть, он сказал:

– Я и не думал, ваше высокое благородие, что сумею так легко и просто представиться вам. Я действительно из Варшавы, хотя и приехал из Перми. Моя одежда не позволяет мне назваться тем, кто я есть. А я есть предприниматель, хотя и мелкий. Но если вашему высокому благородию будет угодно отнестись ко мне так же благосклонно, как ко всем другим, кто живёт в Мильвенском заводе и кто приезжает в него, то ваш покорный слуга может стать на твёрдые ноги.

– К вашим услугам, – ответил Вишневецкий. – Чем я могу быть вам полезен?.. Пожалуйста... «Ю-Ю», короткая курка, длинный мундштук.

Поблагодарив за предложенную дорожную папиросу «Ю-Ю» и отказавшись от неё, Киришбаум коротко рассказал о себе, начиная с Варшавы, где он родился, где бедность не позволила ему закончить пятого класса гимназии и он вынужден был искать счастья в Петербурге. Не забыв обронить очень важную подробность о своём деде – «николаевском солдате», потомкам которого разрешалось проживать беспрепятственно во всех городах Российской империи, Киришбаум подтвердил всё это предъявленным паспортом.

– Так какой чёрт, досточтимый Григорий Савельевич, – удивился Вишневецкий, читая паспорт, – заставил вас покинуть столицу и приехать в Мильву?

– Нужда, ваше высокое благородие, господин пристав. Нужда. Наверно, вы слышали о существовании этой неприятной дамы. Вот она-то и заставила меня искать город, где квартиры дешевле и руки дороже. Так я приехал в Пермь. Приехал и доучился на штемпельщика. Хозяин штемпельной мастерской, хотя и молился тому же богу, что и я, но не обращался со мной по-божески. И тут я услышал, что есть на свете счастливая Мильва. Мильва, где царит благополучие, где каждый имеет свой кусок хлеба, Мильва, где тихая, но процветающая жизнь, где нет беспорядков и, конечно, не может быть погромов и где нет, но может быть мастерская штемпелей и печатей «Киришбаум и сын». А в скобках – из Варшавы. Теперь скажите мне, ваше высокое благородие, назвали бы вы меня ослом или даже хуже, если бы я не бросил всё, не продал кое-что на дорогу и не приехал сюда?

– И преотлично сделали, – одобрил пристав. – В таком большом, по сути дела, городе Мильвенске нужна такая мастерская. «Киришбаум и сын», да ещё «из Варшавы» – превосходная вывеска. Благословляю! – Пристав простёр руки, снисходительно улыбнулся и поблагодарил за удовольствие, доставленное остроумнейшим разговором. – Надеюсь, что внук почтеннейшего солдата его величества государя императора Николая Первого вольно или невольно не доставит излишние хлопоты полиции.

– Я уже это сделал, ваше высокое благородие... И не могу поручиться, что не сделаю ещё... В губернии – губернатор, а здесь – вы. К кому же я приду, если госпожа судьба снова не захочет улыбнуться вашему покорному слуге?

После ухода Киришбаума Вишневецкий принялся выстукивать пальцами по столу и напевать вполголоса: «Эх, тумба-тумба-тумба, Мадрид и Лиссабон», а затем решил запросить Пермь, а пока установить проверочный надзор за приезжим, оказавшимся слишком безупречным и на редкость благонадёжным, что должно вызвать неминуемую настороженность всякого пристава, и особенно – замечаемого самим губернатором.

А Киришбаум, великолепно понимая, что это так и будет или примерно так, примет все меры, чтобы облегчить полиции проверку.

V

Дом прокатчика Самовольникова, где нашли временное пристанище Киришбаумы, представлял собой обычное жилище мильвенского рабочего. Это изба-пятистенка, которую называют домом, как и горницу предпочитают именовать залом. В зале-то и разместились Киришбаумы, платя рубль в неделю за постой, чему Самовольниковы, как видно, были очень рады. Недавно построившись, эта рабочая семья дорожила каждой копейкой. Ефиму Петровичу Самовольникову и особенно его жене Дарье хотелось, чтобы приезжие пожили у них подольше. Им продавалось молоко, первые овощи, а самое главное, для них выпекался хлеб, что тоже давало лишнюю копейку старательной хозяйке Дарье Сергеевне...

Зубы у Анны Семёновны заболели вскоре после её приезда. Зубная боль была единственным поводом для встречи с Матушкиными.

Старик Емельян Кузьмич Матушкин в своё время ходил в знатных колдунах по выплавке инструментальных сталей. Хорошо зарабатывая, он позаботился о детях. Одна дочь, Елена, – учительница. Вторая, Варвара, – зубной врач. К ней-то и нужно попасть Анне Семёновне. Попасть умно. Не просто завязала щёку и – «здрассте, Варвара Емельяновна».

Так не могла явиться осторожная подпольщица. И она, «маясь зубами», дождалась, когда сочувственная хозяйка Дарья Сергеевна сказала:

– К доктору бы тебе, девка, надо.

А та, держась за щёку:

– А разве они у вас есть?

– Вот те на. Целых три. Один много берёт и плохо лечит. Другой мало берёт, но только дёргает. А третья – душа человек, Варвара Емельяновна Матушкина, самая дешёвая и самая толковая. За малое лечение даже вовсе не берёт. Желает сведу?

Этого-то и надо было Анне Семёновне.

– Сведи, Дарья Сергеевна. Куда же я одна в чужом городе?

И вскоре Анна Семёновна была доставлена к Варваре Емельяновне.

Так началось знакомство и установилась связь Киришбаумов с мильвенским подпольем. Анна Семёновна получила возможность встретиться с «самим». Его можно было принять за церковного старосту, волостного старшину, лабазника, и назвать болваном всякого, кто бы заподозрил в этом бородатом, розовощёком, пузатом старике внутреннего врага Российской империи.

Емельян Кузьмич Матушкин был человеком вне подозрения. И если он был в чём-то замечен, то разве только в неразборчивом гостеприимстве и неумеренном хлебосольстве.

В те дни, когда Анна Семёновна лечила «затянувшееся воспаление надкостницы», ново-явленный предприниматель штемпельщик Кишбаум налаживал коммерческие знакомства.

Между тем в полицию поступали самые приятные для Кишбаума сведения, чему он способствовал на каждом шагу, помогая не очень хорошо маскирующимся агентам. Одному из них он пообещал выбить зубы, если тот посмеет ещё раз сказать при нём хотя бы одно плохое слово о господине Вишневецком Ростиславе Робертовиче, который непременно будет вице-губернатором. Потому что господин Вишневецкий Ростислав Робертович не просто большой ум, но и большое сердце настоящего русского дворянина, умеющее чувствовать и барина, и мужика, и даже такого, как бездомный штемпельщик Кишбаум. Такие губернаторы, и только такие, как господин Вишневецкий, нужны русскому и всякому народу великой империи.

Пристав Вишневецкий трижды перечитывал донесение, которое прочило ему пост вице-губернатора.

– Хватит искать чертей в кадьнице, у нас есть поважнее дела, – сказал пристав своему помощнику по негласному надзору и принялся распекать его за «нераскушенный орешек», за Валерия Всеволодовича Тихомирова, высланного по доносу из Петербурга в Мильву. – Уже полгода, и ни одной зацепки.

Помощник пристава по негласному надзору молчал, опустив голову. Иного ему и не оставалось.

Тихомиров – юрист по образованию, столбовой дворянин по происхождению, опасный, но неуличный внутренний враг империи – жил в доме своего отца, генерал-лейтенанта в отставке, жил, не давая полиции даже малейших поводов для подозрений.

А между тем Валерий Всеволодович уже дважды «пломбировал» здоровый зуб в те же дни и часы, когда Анна Кишбаум лечила «затянувшееся воспаление надкостницы».

Впрочем, у Валерия Всеволодовича были основания посещать Матушкиных не только по зубным недугам, но и недугам сердечным. Младшая дочь Матушкиных, Елена, называлась досужими языками невестой Тихомирова задолго до того, как он понял, что любит её и что только она будет его женой.

VI

А рабочая Мильва жила по заводскому свистку. Первый свисток – просыпайся, второй – беги на завод, третий – начинай работу. С третьим свистком закрываются ворота проходных.

Ранним утром оживают улицы Мильвы, и особенно те, что ведут к заводу.

Ходовая улица и Большой Кривуль, на углу которых стоит приземистый двухэтажный зашеинский дом, особенно шумны в этот утренний час. Здесь сливаются людские потоки со всех улиц по эту сторону пруда и текут шумной лавиной к главной проходной. Екатерина Матвеевна прикрывает окна, чтобы гулкое топанье ног по звонким деревянным тротуарам и голоса рабочих не разбудили Маврика. Но стёкла окон не предохраняют от шумного говора, и Маврик слышит сквозь сон это с детства привычное оживление, и оно не будит его.

Вчера он вместе с ребятами тоже решил работать на заводе, как только подрастёт. Толя Краснобаев сказал, что будет техником. Сеня, его брат, пойдёт к отцу в механический цех и станет токарем на самоточке. А Маврик и Санчик пойдут в судовой цех нагревать заклёпки, а потом будут строить шаланды, землечерпалки, а может быть, заводу дадут заказ на большой пароход. Давали же. И Толя Краснобаев уверен, что дадут.

Жить Маврик будет по свистку, как все, и если он просыпается теперь в восемь часов, то только потому, чтобы не огорчать тётю Катю.

Уже около восьми. Санчик сидит во дворе на площадке наружной лестницы, и краснобаевские ребята тоже давно проснулись. Они ждут Маврика у себя на дворе. Наконец открывается окно.

– Санчик, ну что же ты? – приглашает Маврик.

– Иди, иди, – подтверждает Екатерина Матвеевна. – Поешь.

Санчика Екатерина Матвеевна про себя считает «мальчиком для аппетита». Вместе с ним Маврик ест всё и самое простое, а самое простое – самое полезное для организма, поэтому экономной Екатерине Матвеевне ничуть не обременителен лишний рот, лишь бы единственный и бесценный племянничек проглотил лишний кусок. И как только Маврик перестаёт есть, Санчик делает то же самое. Видя это, тётя Катя говорит:

– Так что же ты, Мавруша, хочешь, чтобы товарищ вышел голодным из-за стола, ведь он же никогда ни на одну крошечку не съест больше тебя.

И Маврику ради Санчика приходится есть.

Вот и сегодня, наскоро умывшись и помолившись «раз-два-три», отбывается самая трудная утренняя повинность еды. Маврик уже закормлен, а Санчик никогда не отказывается от еды. Правда, теперь он, с приездом из Перми своего друга, сытно и часто ест, но всё равно его тельце тоще, руки худы, щёки впалы. Ему трудно наверстать недостаток в питании первых лет его жизни. Когда он был младенцем, ему не хватало молока, а потом, когда он подрос и сел за общий стол, семье не хватало и всего остального, даже не всегда доставало хлеба.

Но зачем вспоминать об этом сегодня, когда на столе белая молочная лапша, когда в чашку чая кладётся два куса пилёного сахара, когда чай пахнет чаем, а не прелым сеном, а хлеб, как тополиный пух, мягок и бел. Как вкусно и как хорошо есть досыта, и будто нет другого стола, где в этот же час сидит Санчикова семья и его мать со вздохом режет ржаной хлеб и думает, как всегда, где и что раздобыть на обед. А здесь уже топится печь и в глиняной латке-жаровне лежит утка, аккуратно обложенная кружками картофеля, дожидаясь, когда сгорят дрова, а угли загребут в загнетку, чтобы ей, утке, начать томиться в вольном жару при закрытой заслонке и начать пахнуть нестерпимо вкусно, а потом появиться на обеденном столе и отдать одно крылышко Маврику, а другое ему, Санчику.

– А у нас, – говорит он, – в прошлом году тоже была утка. Не целая, а хватило всем.

Этим он как бы показывает, что и они живут вовсе уж не так плохо.

С завтраком покончено. Маврик вскакивает. Санчик бежит вслед за ним, дожёвывая хрустящую хлебную корочку. На дворе ждёт, виляя хвостом, счастливый Мальчик. Щенку выносятся вымоченный в молоке хлеб, и день начинается.

В паромход играть уже не хочется. Как он ни хорош, но надоело ездить в Рыбинск и обратно. На одном и том же месте.

Манит улица. Её-то и боится Екатерина Матвеевна. Боится, но знает, что рано или поздно Маврику придётся открыть туда ворота.

Она недавно разрешила ему перелезть через три изгороди и ходить через два огорода к Толе и Сене Краснобаевым. У Краснобаевых совсем другая жизнь. Засаженный, а не пустующий огород. Красная комолая «не бодучая» корова. Куры, которых можно кормить. Но самое интересное – лазить по закоулкам большого сарая и собирать яйца. Но ещё интереснее спускаться в подвал краснобаевского дома. Там почти завод. Там множество инструментов, которыми разрешается работать. Не всеми, но некоторыми.

VII

Толя и Сеня Краснобаевы многое умеют делать сами. Ружья. Свистульки. Мечи и щиты. Ветряные мельницы с хвостом, которые поворачиваются против ветра. У Маврика такой нет, но будет. Она уже начата, и Сеня поможет доделать её, а потом, наверно завтра, Маврику и

Санчику помогут сделать щиты и мечи. Тогда они могут быть приняты в славную дружину храбрых воинов.

Медленно вытёсывается из сухой липовой доски лезвие меча. Тяжеловат для Маврика непослушный маленький топор. Боязно иметь с ним дело. Можно оказаться и без пальца или посечь ногу.

– А ты не бойся его, не бойся, – наставляет Сеня Маврика. – Пусть он тебя боится. Вот так, вот так...

И Маврик тешет «вот так... вот так». Мало-помалу, мало-помалу топор оказывается легче, удары точнее, щепки ровнее...

– Вот так... Вот так, – приговаривает вышедшая во двор бабушка Краснобаиха и нахваливает: – Ух ты, какие ровные щепочки начали отлетать – видать, понятливая у тебя рука, тетечкин кормилец-поилец... Вот так... Вот так... Сдружайся с топором. От него всякий струмет пошёл – и долотья, и пилы, и струги, свёрла, а потом станки-машины. Все они топору доводятся детками, внуками, внучками, правнучками... Сдружайся с топором. С топора всякий дельный человек начинается, а без топора и головастый грамотей в безруких растях ходит. А таким ли тебе расти, коренное молодое дерево, от старого дуба сильный росток...

Наговаривает-приговаривает так Краснобаиха, а топор всё легче и послушнее становится в слабой и тонкой руке Маврика. Рука уже побаливает в локте. Пусть болит. «С топора всякий дельный человек начинается, а без топора и головастый грамотей в безруких растях ходит»... Боли рука, не отвалишься...

И вот уже вытесано лезвие меча. Со лба льётся пот. Обе рубашки прилипли к спине. Теперь нужно, как учит Сеня, помахать руками, да быстро-быстро, чтобы разошлась по жилам застоявшаяся кровь. И Маврик быстро-быстро машет руками, и расходится по жилам застоявшаяся кровь, и от этого веселей блестит отдыхающий на чурбаке топор. И он уже не пугает своим блеском и не говорит: «Я острый-преострый, живо отрублю тебе палец». Нет. Нет, он смеётся, отсвечивая солнечными лучами, и говорит совсем другое: «Тебе со мной скоро не будет страшен никакой сук, никакое дерево».

Как мало ещё сделано, а уже свистит свисток на обед. И снова шумные, хотя и меньшие потоки текут по улице. Не все рабочие обедают дома, а только те, что близко живут.

Отец краснобаевских ребят Африкан Тимофеевич и его брат Игнатий Тимофеевич обедают дома. Они живут очень большой неразделённой семьёй. За стол садятся человек двенадцать. Игнатию Тимофеевичу давно хочется жить самостоятельно. Но этого сделать нельзя, пока жив старик Тимофей Краснобаев. Игнатий ненавидит старый кирпичный дом с «голубятней» наверху, как он называет мезонин. Краснобаевские ребята не любят своего дядю Игнатия и скрывают это от всех и от Маврика.

У Маврика нет дружеских отношений с Игнатием Тимофеевичем Краснобаевым. Это не то что Артемий Гаврилович Кулёмин – ясный, солнечный, мягкий, как июнь. Игнатий Тимофеевич Краснобаев похож на март. Когда как. В нём нет устойчивой теплоты даже к племянникам. Он может и поколотить. Поэтому они побаиваются его. Зато своего отца Африкана Тимофеевича они считают за товарища. За старшего, конечно, как Маврик тётю Катю, с которой можно говорить обо всём.

В Мильве встречаются люди, похожие на этот месяц март, которым хотя и можно верить, но не во всём.

Вот и сейчас Маврик не знает, как понять Игнатия Тимофеевича, когда он, приглашая к столу, говорит:

– Садись обедать, жених, рядом с невестой.

Невеста – это Соня Краснобаева. Ей семь лет. Она подходит в невесты и нравится Маврику больше всех краснобаевских дочерей. И он уже подарил ей клоуна, который, если нажимать ему деревяшечку в животе, начинает бить в медные тарелки, прикреплённые на гвоздики

к его рукам. И вообще-то говоря, на Соне можно жениться. Она очень серьёзная девочка. И тётя Катя любит её и гладит по голове. Но зачем Игнатию Тимофеевичу понадобилось говорить об этом при всех? Ведь ещё же ничего не решено. Разве бы так сказал умный Артемий Гаврилович Кулёмин?

– Спасибо, Игнатий Тимофеевич, нас ждут дома, – отказывается от обеда Маврик. Он, может быть, и остался бы, но ведь Краснобаев не пригласил Санчика.

Плохо, когда человек – март.

VIII

Продолжая «отвлекать» Маврика, Екатерина Матвеевна делала всё возможное. Нужно красить – крась. Вот тебе кисть и краска. Хочешь засадить свой огород – пожалуйста. Нравится тебе играть в Зингеровский магазин – изволь. Чем не магазин старый каретник. Покупателей сколько угодно. Санчикова сестра. Краснобаевские сёстры. Для них уже проделана лазейка в заборе.

Был куплен и опаснейший из опасных инструментов – маленький топор. «От судьбы не уйдёшь». И если уж суждено поранить руку или ногу, этого не избежишь. Но всё же «бережёного бог бережёт». И Екатерина Матвеевна, купив топор, попросила точильщика чуточку притупить топор на своём колесе.

Новым топором пользоваться было нельзя. Он годился только для колки, но не для рубки и тёски. Маврик, тяжело вздохнув, отложил топор и решил поиграть с горя в пермскую тюрьму. И тётя Катя поддержала эти намерения. Чем не тюрьма старая баня. Сиди там с Санчиком и пой:

Солнце всходит и заходит,
А в тюрьме моей темно...
Днём и ночью часовые
Стерегут моё окно.

А потом можно выставить гнилую раму и бежать на волю. Только тётя Катя не советует мальчикам называть себя «политическими». Лучше сидеть за поджог или безвинно, как сидел дедушка в девятьсот пятом году – заложником. С каким почётом его встречали потом рабочие!

Екатерина Матвеевна сама придумывает игры, только бы как можно дольше удержать Маврика дома, хотя она и понимает, что улицы Маврику не избежать. Поэтому приходится брать Маврика на базар и ходить с ним по родне. У тёти Сани и у тёти Лары три девочки, три двоюродные сестрички, с которыми не очень интересно играть, зато есть надежда, что с ними отпустят купаться.

Так и случилось. Это было настоящее счастье. Маврика отпросили у тёти Кати на пруд. Старшая дочь тёти Лары, Аля, сказала:

– Странно... Ему почти девять лет, а он ещё не купался на пруду. Там купаются и пятилетние.

А вторая, толстая Танечка, добавила:

– Песок же на нашем берегу, и ни одной ямки. Ровное-преровное дно.

Тётя Саня, старшая из сестёр Зашеиных, поддержала внучек:

– В самом деле, Катенька, за всю жизнь не слыхивали, чтобы кто-нибудь из ребятишек тонул в этом месте.

Лицо Маврика было таким просящим... В глазах его стояла такая мольба, а девочки давали такие клятвы, что тётя Катя сказала:

– Только недолго.

Этот день навсегда останется в памяти Маврика. Они бежали по широкой Песчаной улице, спускающейся к пруду. Пруд был как зеркало, и только у берега, где барахталась ребятня, вода кипела и сверкала, залитая солнцем.

Нелегко в первый раз зайти в воду и окунуться. Маврик купался впервые. Девочки раздели его, потому что он был мальчик. А сами они остались в рубашках. В них они и будут купаться. Потому что они девочки.

К Маврику не пришло ещё чувство стыда, а девочкам уже внушили его.

– Иди, иди, не бойся, – зазывали его в воду Аля и Таня.

И он зашёл по колено.

– Теперь присядь...

– Присядь ещё раз... Зажми нос. Окунись!

С чем можно сравнить эту радость первого купания, снившегося ему в Перми! Ласковые объятия тёплой воды. Визг. Брызги. Плотное, ровное песчаное дно. Неужели всё это сейчас кончится и его заставят одеваться?

Напрасные опасения. Аля и Таня ведут его глубже. По пояс. По грудь. И когда он упирается, Аля берёт его на руки, затем кладёт на воду животом и, поддерживая снизу, говорит:

– Плыви, я держу тебя... Не бойся.

Маврик болтает ногами, гребёт руками. Он никогда не думал, что это у него получится. Ноги и руки делают сами всё, что нужно.

Легко плыть, когда тебя поддерживают. А попробуй поплыть один, без Алиных рук, сразу же опустишься на дно. Маврик и не знает, что Аля давно убрала из-под него руки и он плывёт сам по себе. Плывёт, как щенок, оказавшийся впервые в воде. Его поздравляют. Его называют молодцом.

– И это правда, Аля?

– Ну как же неправда, Маврик? Попробуй ещё!

Аля снова заносит его в воду, снова кладёт на свои руки. Он плывёт! Он плывёт! Этому ни за что не поверит тётя Катя, а он плывёт.

Пора выходить из воды. Он уже накупался. А ему хочется ещё и ещё убедиться в чуде, которое совершилось сегодня. Он не только человек, но и рыба...

Маврику, живущему в мире волшебных сказок, слышанных от бабушек, читанных матери и тёткой, хочется сказать пруду что-то очень хорошее, а слов нет. Он ищет их, торопливо надевая штанишки, приветливо улыбаясь огромному зеркалу воды. Он придумывает, что бы ему, такому громадному, сказать, застёгивая ворот рубашки. И наконец он шепчет самые простые слова:

– Спасибо тебе, милый пруд, за моё первое купание!

Его шёпот слышит Аля и говорит:

– Какой ты, оказывается, вежливый, Маврикий...

– Нет, нет, – опровергает он, – я несколько не вежливый. Я благодарный. Я и тебе скажу спасибо за... – Он не договорил, и так ясно, а потом объяснил: – Человек за всё должен благодарить, даже если ему всего-навсего сказали: «С добрым утром!»

Сколько раз придётся ему в это лето благодарить за всё первое! Лес – за первые найденные им грибы, луга – за первые ягоды. Речку Омутиху – за первую пойманную в ней рыбку. Топор и нож – за первое удище. Лук – за первую попавшую в цель стрелу...

В детстве почти всё происходит впервые, но многое из этого первого бывает и последним, единственным, неповторимым. Дважды нельзя поймать первую рыбку, и тем более невозможно повторить ни один из дней своего детства. Но разве может это понять мальчик в восемь лет, да и надо ли ему понимать в это счастливое лето, что жизнь несправедливо быстротечна, что каждый день должен быть прожит хорошо и разумно.

IX

Долго старалась Екатерина Матвеевна не пускать Маврика на улицу, опасаясь, что его переедет телега, что ему выбьют мальчишки глаз или его искусают бешеная собака. Мог Маврик подцепить и чесотку, на его руки могли пересесть и цыпки. Мало ли какими болезнями хворают мальчишки, бегающие по Ходовой улице. И всё же пришлось уступить.

Сеня и Толя дали честное слово, что они будут следить за Мавриком и не дадут его в обиду. Им можно было верить. Да и умный сосед Артемий Гаврилович Кулёмин, повидавший виды, сказал про Маврика:

– В школе-то ему так и так придётся учиться с этими ребятами. Так пусть он с ними сдружится до неё.

А Терентий Николаевич вставил своё:

– Дома и молоко киснет. Проквасишь ты, Катенька, парня, и вырастет он безногим, безруким Неумеем Незнаевичем.

Это тоже страшно. И Екатерина Матвеевна решилась.

Сначала было разрешено играть напротив окон. Потом было позволено ходить по соседним улицам, и однажды он выпросился сходить за краснобаевской короной, отбившейся от стада.

И когда всё обошлось благополучно, на защиту свобод внука поднялась сама бабушка:

– Лучше ест, крепче спит, здоровеет день ото дня, как такому человеку волю можно не давать...

Случилось невероятное. Маврик получил разрешение ходить купаться и бегать босиком. Однако же были строгие ограничения. Купаться только у берега Песчаной улицы, где мелко, и заходить в воду только по грудь и не выше ни вершка. В чём было дано клятвенное обещание Маврика, Санчика и поручителя Сени Краснобаева. Хотя и без того можно было надеяться на одного Маврика. У него «твёрдое дедушкино слово», а кроме этого он всегда был «порядочным человеком».

Началась настоящая жизнь. Белых воротничков не было и в помине. Ноги скоро привыкли к колкой земле и «большим» камешкам. Теперь ни одно из приготовленных для Маврика прозвищ не могло пристать к нему. Разве он «неженка» или «полосатый чулок», когда он бос. Он и не «поганный гриб», а такой же, как все. Кое-кто из ребят ещё пытается придумать ему кличку, но кличка не пристаёт. Кроме одной – «зашеинский внук». Так его называют взрослые. Он часто слышит за спиной, как одна старуха говорит другой: «Это идёт зашеинский внук». Иногда его так называют и в глаза. Здравуются с ним незнакомые люди и говорят:

– А ну-ка, покажись, каков ты, зашеинский внук...

В Перми никто не обращал на него внимания, когда он проходил по улицам. А здесь редкий не оглядывается на него, не останавливает его.

Говорят с ним и на далёких улицах. Откуда о нём знают? Почему называют по имени – Катенькой и Любонькой – его тётку и его маму? Почему имя «Матвей Романович» произносится с уважением?

– Потому, – отвечает бабушка, – что дед твой не порознь с народом жизнь прожил, не как другие прочие мастера. Грамоте знал и думать не боялся. Не только молот, но и циркуль умел в руках держать. Техников, инженеров уважал, а свой разум тоже в сапог не прятал, говорил, как сделать лучше, как спорей. Никогда зашеинские корпуса судов не браковались, хоть и делались они скорее других. Думанным-передуманным с рабочими людьми делился. И в чёрные, «беззаказные годы» дед твой сберёг завод от неминуемой гибели, за что редкий встречный не снимал шапки перед Матвеем Романовичем... А тепла-света в нём было не меньше, чем на небе в летний день...

Знает Маврик, что после дедушки остался наградной кафтан с золотыми полосками на вороте и на рукавах. Это «царский жалованный кафтан». Им очень гордились бабушка и тётя Катя, но Терентий Николаевич называл этот кафтан «пылью в глаза».

Дедушку он помнил седым, кудрявым. Он сажал Маврика на колени, ласкал его, угощал сладкими пирогами, приносил маковые конфеты. Помнит он, как дедушка без конца щепал лучину для растопки печи. Пучки лучины сохранились и теперь на чердаке дома. Помнит он похороны. Помнит, что на похороны пришло много народу.

Подходил к гробу и сам управитель завода. Он возложил венок с лентами. Гроб несли только почтенные рабочие, да и те ссорились – кому нести. Маврика тоже несли на руках. Чтобы ему было всё видно. Это хорошо помнит Маврик. Он помнит, как ему кто-то с чёрными усами сказал:

– Оглянись и запомни, как хоронят твоего деда Матвея Романовича.

Маврик тогда оглянулся. Такого скопления народа он не видел никогда.

Нужно же узнать когда-то, кто такой был дедушка, если из-за него так много людей знают Маврика.

И ему снова рассказывают о дедушке тётя Катя, Терентий Николаевич, бабушка, но из всего запомнилось, как дед избавил рабочих от порки у чугунного медведя...

Х

«Привести к медведю» – было крайним и жестоким наказанием, которое было введено давным-давно. Так давно, что поросло преданием и стало легендой.

В те далёкие времена, когда казённой Мильвой правил выходец из чужедальних земель по фамилии Бугберг, прозванный Бугаём, появился весёлой души мастер из коренных пермяков Северьянко. Этот самый Северьянко мог заставлять жить липовый чурак шукой, голубем, тетеревом и кем он захочет. Хоть Миколой-угодником, хоть языческим идолом. Потому что в те годы хотя и крестили всех поголовно, а всё же старики-язычники не забывали своих старых богов и тайно заказывали Северьяну небольших деревянных идолов. Русские лесовики тоже не брезговали коми-пермяцкими божками. Помогали они или не помогали, а места много в охотничьем мешке не занимали. Делал Северьянко и таких божков-вершков. Но главная работа Северьяна была церковной. Попам в этих краях приходилось вышибать клин клином. Ежели уж крещёным идолопоклонникам трудно верить в плоского, рисованного на иконе бога и они не могут обходиться без деревянных богов, то пусть уж молятся не кому-то, а резному из дерева Христу, раскрашенному красками.

Этими-то запрестольными, находящимися в глубине алтаря за престолом, резными и раскрашенными изображениями Христа и прославился Северьянко. Христов он создавал вдумчиво и терпеливо, не на одно лицо, а похожими на облик людей того рода-племени, которое молилось новому богу. Случались поэтому скуластые, узкоглазые, черноволосые, темнокожие или, наоборот, бледнолицые с белыми волосами Христы-однодеревенцы.

Бугай, прознав об этом мастере, зазвал его к себе, чтобы заставить вырезать разные и всякие фигуры для украшения господского парка. Северьян нарезал барину и лесных леших с дудками, и девиц-водяниц с рыбьими хвостами, лосей, волков и царя пермских лесов, большого весёлого медведя. Медведь шёл по резной деревянной траве, по знакомым цветам и нёс на своём горбу дуплянку, полную медовых сот.

Залюбовался Бугай медведем. И приказал отформовать медведя и форму залить чугуном. До этого же повелел Северьяну смешливую медвежью морду обработать поцарственной и позлей.

Не хотелось Северьяну портить дурашливого проказника. Но как можно послушаться барина? И он устрасил медвежью морду, сделав её чем-то похожей на управительскую.

И когда медведь был отлит, Бугаю показалось неудобным, что царственный зверь несёт на своём горбу какую-то дуплянку с мёдом. Дуплянка была заменена литой медной позолоченной короной о десяти зубцах. И когда корона была привёрнута на горб медведю, то захотелось, чтобы медведь шёл не по бессмысленной траве и глупым цветам, а попирал бы своими лапами какое-то покорённое им чудище.

Северьянко понял, куда клонит Бугай, и не захотел резать под ноги медведю чудище, оскорблявшее его народ, прозванный в те годы обидным словом – чудь. Резцы в котомку, топор за пояс и был таков.

Нашёлся другой мастер. Из прислужливых. Вычеканил он из красной листовой меди шкуру семиголового чудища. Чеканную шкуру чудища приказано было положить на большой гранитный камень. Нашли такой за Камой и доставили двумястами лошадей, а затем установили на плотине как основание памятника Медвеже-Мильвенскому заводу.

Торжества открытия памятника начались поркой пойманного Северьяна.

С тех пор наказания плетью, розгами, кончавшиеся часто смертью, происходили у подножия памятника. К медведю приводили пойманных беглых, нерадивых, смутьянов, бунтовщиков, недовольных малой платой, и всех, кого находил нужным пороть очередной мильвенский управитель...

XI

На этот раз к медведю привели организаторов забастовки. Среди них был и Санчиков отец Василий Иванович Денисов, и Терентий Николаевич Лосев, тогда ещё совсем молодые Кулёмин и Краснобаев. Был тут и уважаемый в Мильве мастер Емельян Кузьмич Матушкин....

Густой цепью солдаты стали вдоль ограды завода, до трёх десятков лодок с жандармами охраняли плотину со стороны пруда. По улицам маршировали патрули. В примильвенских лесах появились воинские части.

Вице-губернатор и жандармские чины стояли на дощатом, ночью сколоченном помосте. Заводские чины во главе с Турчанино-Турчаковским находились поодаль, по другую сторону медведя. Этим показывалось, что заводское начальство и управляющий не имеют отношения к расправе. Перед медведем поставлены десять широких скамей, или кобылин, с ремнями, которыми привязываются подлежащие порке. Под кобылинами аккуратно разложены ивовые прутья. Десятеро привозных здоровенных и уже подпоенных мужиков в бордовых рубашках ждут у вице-губернаторских подмостей, рядом с барабанщиками, которые будут заглушать крики наказываемых.

Вызванные из цехов рабочие толпились за шеренгами солдат. И когда всё было готово, вице-губернатор дал знак чиновнику прочитать приказ о наказании. Кому и за что и сколько ударов. Но в это время толпа зашевелилась и послышалось:

– Пропустите меня... Пропустите!

И все увидели невысокого старика, с седой и всё ещё кудрявой головой, в царском жалованном кафтане. Послышались голоса:

– Это Зашеин...

– Это Матвей Романович... Пропустите его...

– Пропустите его к вице-губернатору.

И Зашеина пропустили. Он подошёл к подмостям и громко сказал:

– Ваше высокое вице-губернаторство... Меня не арестовали по недосмотру. А надо бы... Я ведь эту кашу заварил, мне её и разваривать первому. Начинайте с меня!

Матвей Романович снял жалованный царский кафтан и, при безмолвии всех, подстелил его на крайнюю скамью-кобылину.

– Что это значит? – недоумевал вице-губернатор. – Кто этот старик? – спрашивал он визгливо у свиты.

– Я Зашеин, ваша милость. Матвей Зашеин, тот самый, который позвал рабочих на время попуститься четвертаком и получасовой прибавкой, а теперь они, те, что завод спасали, – указал он на стоящих со скрученными назад руками забастовщиков, – рассчитываются за это. Дайте рассчитаться и мне. Порите меня! – обратился он к мужикам в бордовых рубахах. – Более порите, чтобы до гроба помнил старый дурак и в могиле вспоминал, как верить господам на слово...

Кто знает, какие слова мог ещё сказать Зашеин, если бы его не прервал ставший рядом с ним перед вице-губернаторскими подмостками управляющий Турчанино-Турчаковский.

– Ваше превосходительство, – обратился хитрец к вице-губернатору, – за что должны лечь на эти унижающие человеческое достоинство скамьи люди, которые требовали вернуть отданное ими во имя спасения родного завода до лучших времён. И эти времена пришли, но из-за непростительной задержки деньги не были возвращены.

– Вы оправдываете бунт? – властно спросил губернатор.

– Бунт? – сказал, удивлённо разводя руками, управляющий. – Разве были допущены какие-то нарушения? Люди просили то, что им высочайше возвращено. Прошу вас, господа, прочитайте только что полученную из Петербурга депешу.

Турчанино-Турчаковский с некоторой небрежностью победителя подал вице-губернатору телеграмму, и тот, прочитав, сказал примирительно:

– Поздравляю вас, Андрей Константинович! Поздравляю вас всех, – обратился он к присутствующим.

Рабочие оживились.

– Тогда кто же развяжет руки безвинно арестованным? – громко, чтобы слышали все, спросил Турчаковский.

– Освободить приведённых! – приказал вице-губернатор.

Мужики в бордовых рубахах принялись развязывать руки арестованным. А Турчанино-Турчаковский доводил до конца необходимую ему комедию:

– Ваше превосходительство, мы не требовали войск. Они пришли не по нашему зову. Я прошу дать приказ ротам немедленно покинуть мирные улицы.

И приказ был дан. Трубаچی затрубили сборы. Части наскоро построились и затем оставили Мильву. Другое дело, что все они разместятся в ближайших сёлах, но на улицах их нет.

Плотина пустела. Матвей Романович возвращался в кумачовой рубаше с расстёгнутым воротом. Кафтан он оставил на кобылине. Его услужливо принесёт ему заводской подлипала. А теперь Зашеин идёт со своими друзьями. Ему кланяются, говорят добрые слова, называют «родным Романычем». Рабочие зовут его пройти по улицам, показаться народу. Нельзя. Дома убивается по нем Екатерина Семёновна, и ей надо сказать: «Вот я, Катя. Целёхонек и без единого рубца».

Турчанино-Турчаковский тоже шёл пешком на Баринову набережную. Искуснейшего комедианта провожали уважаемые рабочие, всем сердцем верившие барину, постоявшему за простой народ.

Одним из последних уходил Терентий Николаевич Лосев. Ему захотелось сплести памятную корзинку из лозы, приготовленной для порки. Отбирая наиболее гибкие прутья, он сказал увозившим скамьи-кобылины, указывая на медведя:

– Смотрите, ребята, а он ухмыляется, горбатый зубастик! К чему бы и над кем?

Третья глава

I

«Уметь! Помогать! Добывать! Зарабатывать!» – эти четыре слова вполне могли бы стать самым кратким и самым исчерпывающим девизом мильвенской детворы, за исключением разве тех мальчиков и девочек, которых насмешливо называли «благородными».

Маврик был «не поймёшь кто». До «благородных» он не дотягивал, а «простым» тоже не назовёшь. Но теперь его, разутого, почерневшего, с исцарапанными и пораненными руками, можно считать «своим», хотя у него не было никаких обязанностей и он с утра до вечера мог делать всё, что ему захочется. Так не могли располагать собой остальные, кроме разве Санчика.

У Санчика нет домашних обязанностей, потому что нет дома. Денисовы живут в избушке-малушке у дяди Миши. Дядя Миша – маляр. Он ходит и красит по богатым домам. Ему везде доступ, везде вера. Не обманет, не украдёт, потому что он не просто маляр, но и староста кладбищенской церкви. А его старший брат – Василий, Санчиков отец, – хотя и почище маляр, красивший не крыши да окна, не кресты да ограды на кладбище, что может делать всякий подмастерье, а мастер первой статьи, которому доверяли самые чистые работы по окраске судов, но жить теперь ему не на что. Ревматизм рук и ног заставил покинуть завод и выйти на семирублёвую пенсию. И если бы не бабушка Митяиха, то пропасть бы Санчиковой семье с голоду. Сёстры ещё не подросли. За стирку Санчиковой матери платили мало, да и редко нанимали. Старшую сестру Санчика, Евгению, не отпускали мыть полы в богатые дома, хотя и звали. Она была очень красива и могла выйти замуж за жениха с домом. А поломойку, которая ходит по чужим домам, кто же возьмёт замуж. Поэтому Женя училась шить, а пока метала петли настоящим швеям. По копейке за две маленькие петли. За большие платили дороже. Но много ли петель сделаешь за день? И вся надежда семьи была на сухую, подслеповатую, с тяжёлыми веками бабушку Митяиху. У неё случались деньги, и она кормила неплохо денисовскую семью, особенно в воскресенье и в понедельник. А иногда собранных ею кусков хватало и до среды. Митяиха была соборной нищенкой, и ей полагалось хорошее место на паперти. У самых дверей, где могли стоять только старые нищие, которые христардничали много лет, а остальные – не настоящие нищие, а просто так, побирушки, когда придёт нужда, – не имели постоянного места и канючили где придётся: на нижних ступеньках паперти, а в большие праздники, когда все ступеньки были заняты, им приходилось стоять на площади.

Бабушка Митяиха имела право ходить по всем домам Мильвы. Таких было всего лишь пять нищих. А остальные могли просить милостыню только на своих улицах, которые были разделены очень строго. Улиц в Мильве хотя и много, но нищих ещё больше. Поэтому некоторым доставалась не вся улица, а половина. На одной стороне улицы дома были одного нищего, а на другой – другого. И если кто вздумал бы перебежать дорогу, его могли и поколотить. А Митяиху никто не мог тронуть. Она из перваков. Почти как мастер в цехе. Санчикова бабушка состоит в первом пятке. И ей, как и всякому из этого пятка, все остальные нищие платят каждое воскресенье «долю». Можно деньгами. Можно кусками.

Санчик гордится своей бабушкой. С уважением к Митяихе относится и Маврик. Хоть и нищая, а из главных. Поэтому её внуку-любимцу, Санчику, живётся лучше всех в семье. Бабушка может припросить и ситцевый остаточек у купца для рубашки Санчику, и самые сладенькие кусочки она бережёт для него. Но теперь они не так нужны Санчику. Ему отдано много рубашек и штанишек, из которых вырос Маврик. Они Санчику тоже малы, но Женя их умеет расставлять, надшивать, припускать. И у Санчика теперь есть что надевать.

Сеня и Толя Краснобаевы, как, впрочем, и другие жившие в своих домах, выполняли многие обязанности. Мели двор, чистили у коровы и лошади, натаскивали из колодца в огородные кадки воду для поливки, кололи дрова для русской печи... Делали всё, что было под силу, а иногда и не под силу для мальчиков в восемь – десять лет. В эти годы они должны были уметь помогать взрослым. Уметь помогать было не одной лишь обязанностью, но и гордостью мальчишек.

– Мой-то уж совсем мужик, – говаривали матери про своих сыновей. – Девятый только пошёл, а он уже рыбой семью кормит.

Это значит – мальчик просыпается ранним утром и бежит на плотину пруда за ершами, окунями, плотвой. «Надёргает» такой три десятка рыбёшек – вот тебе и рыбный пирог. Глядишь, опять лишняя копейка дома.

Сходить за Мёртвую гору на луга, собрать там «кисленки», как называли мильвенцы щавель, принести пяток стаканов «клубеники», наискать в лесу на «жареху» маслеников, «синявок», принести полмешка еловых и сосновых шишек для «разжижки» самовара, наловить зелёной кобылки отцу для ловли хорошей рыбы – тоже считалось обязанностью детворы, – уметь, помогать, добывать, зарабатывать.

Если девочка в девять лет не умеет мыть посуду, подметать пол, помогать матери управляться на кухне, она поражала сверстниц. Страшно прослыть «неумёхой», «бездельницей», «белоручкой».

Мавриковой «невесте» Сонечке Краснобаевой семь лет, а она уже показывает своему «жениху», что с ней он не пропадёт. Кормит кур. Собирает снесённые ими яйца. Пропалывает «лёгкие» гряды, ходит за водой с маленькими ведёрками на крашеном коромысле, моет по субботам рундучок у «паратьнего» крылечка, отворяет калитку вернувшейся с пастбища корове... Мало ли дел, которыми она гордится и прославляет себя на восьмом году жизни! Не шутка же, в самом деле, считаться невестой такого кудрявого, такого хорошенького, звонкого-лосого мальчика.

– Санчик, мы тоже должны что-то делать. Нам пора зарабатывать, – убеждает бездельничающий Маврик своего бездельничающего товарища.

– А как? – спрашивает Санчик. – Может, железо рыть и продавать его Лудилке?

– А сумеем?

– А что тут не суметь? Только бы кочерёжки достать. У Кеги есть. Можно выменять на нитки.

Эта идея – выменять кочерёжки, потом нарыть ими много железа, продать его Лудилке – увлекает обоих мальчиков.

И они вскоре становятся добытчиками железа.

II

Из проходных завода вывозится множество шлака. Его вывозят и вываливают на незамощенные улицы Мильвы, чтобы по ним можно было ездить в распутицу, когда грязь стоит выше колёс.

Вместе со шлаком попадают и куски железа: остывшие капли металла, обрезки, «срубки» и прочая мелочь, идущая в мусор цехов. Попадают в мусор покалеченные шайбы, погубленные болты, случаются в нём и хорошие новые костыли, которыми прикрепляются к шпалам рельсы железных дорог.

По разработке уличных отвалов перваками считались братья Рамазановы – Яктынко и Сактынко. В Мильве везде были перваки. В цехах. У нищих. Среди удильщиков. Должны же быть они и у мусорщиков.

Яктынке и Сактынке по десяти-одиннадцати лет. Сактынке красивый мальчишка, с весёлым лицом, смеющимися карими глазами. Лицо старшего, Яктынки, изъедено оспой. На левом маленьком глазу бельмо. Он не умеет говорить ни по-русски, ни по-татарски. У него всего только одно слово – «кеге». Если ему нужно сказать «пойдём купаться», он произносит «кеге» и размахивает руками, как при плавании. Если просит есть, снова произносит «кеге» и показывает на рот. С ним ничуть не трудно разговаривать. Крикни ему «кеге» и потом покажи руками, ногами, выражением лица, что ты хочешь сказать, что тебе нужно, и он обязательно поймёт.

Это очень добрый, весёлый и хороший мальчишка. Он сразу догадался, что за одну катушку ниток Санчик и Маврик хотят выменять две кочерёжки. Обмен состоялся. Нашлись и сумки, куда складывать найденное железо. Санчику дали старый мочальный «зимбель», с которым нельзя уже стало ходить на базар, а Маврику тётя Катя дала дедушкин кожаный «пестерек», в котором он носил еду, когда ходил на завод.

Екатерина Матвеевна не знала о предприятии, замышляемом Мавриком. Она не могла и предположить, что в эту памятную вещьцу будет складываться ржавое железо.

Теперь оставалось научиться выбирать из шлаковых куч железные куски. И этому искусству стал учить тот же Яктынке, которого все ребята называли Кегой.

Нелегко различать железо от шлака. Цвет один. Разный вес. Железо тяжелее. Рукам пришлось немало перебрать, чтобы научиться определять железо по тяжести.

Первый день не принёс большой удачи. Добытки не набрали и по фунту на брата. А если и набрали, то, наверно, половина из найденного – это шлак, слившийся с железом.

На другой день они отправились вдвоём, чтобы Кега и Сактынке не вытаскивали из-под носа хорошие, тяжёлые железинки. Попадались очень счастливые куски. Наверно, по полфунта. А нужно было набрать не меньше полпуда. Двадцать фунтов. А лучше пуд. Лудило меньше не принимал. Полпуда – это гривенник. Два фунта с пуда он выкидывал на «ржу», на прилипший шлак.

Добыча шла успешнее день ото дня, и, наверно, скоро можно будет отправиться к Лудилу и продать нарытое железо. Хорошо бы найти сразу тяжёлую железяку.

Мечтая вслух, мальчики не заметили подслушивающего их возчика.

– Ты не зашеинский ли внучонок? – услышал Маврик.

– Да.

– Аль обеднели?..

– Не обеднели, а «деньги нынче кусаются», – повторил Маврик много раз слышанные слова.

– Дома послали?

– Нет, мы сами.

– Это хорошо. Хоть и плёвые, а всё ж таки свои копейки будут. А ты чей? – спросил возчик Санчика.

– Денисов! – крикнул он, довольный, что и его спрашивают.

– Маляров сын?

– Ага!

– Ну и много ли нарыли?

– Мало. Одна только большая попалась.

– Тогда вот что. Приходите завтра. Сюда же. Об эту же пору, а то пораньше. Будет что рыть.

Сказал так незнакомый возчик, вывалил шлак и уехал.

Рано прибежали Санчик с Мавриком. Долго ждали возчика, но дождались. Он свалил не шлак, а цеховой мусор. В мусоре блестели золотенькие чешуйки.

– Это медь!

– То-то оно и есть, – подтвердил возчик, – не по грошу за фунт, а вдесятеро Лудилин заплатит. Ещё воз привезу из механического...

Медных чешуек-стружек оказалось много. Мальчики торопились выбрать их из мусора. Выбирать их было легко. Они блестели.

Сумки потяжелели, а чешуек было ещё очень много. Возчик приехал снова и снова опрокинул деревянный коробок.

– Маврик, нам не донести. Давай закопаем.

– Давай.

Так и сделали. Закопали набранную медь и принялись за новый мусор. Пришлось ещё раз закапывать и ещё раз набирать, а потом перетаскивать по частям к Лудиле Паяловичу. Так его называли потому, что он нигде не работал, а лудил и паял кому придётся и всегда «сдирал семь шкур». Но Маврик и Санчик не хотели, чтобы их обманул Лудилко. Они прежде спросили у Кеги цену на медь, и когда тот показал свою пятерню и ещё два пальца, Маврик понял, что фунт Лудилко покупает по семи копеек.

Лудило жил в своём доме. Двор у него был завален железным хламом. Старыми листами с крыш. Битыми чугунами, сломанными утюгами, сковородками, печными дверками, ржавыми гвоздями. Всё лежало по сортам. Литейщики, которым он сбывал чугун, железо, медь, платили ему вдвое. Металл ценился дорого и в железной Мильве. В нём нуждались те, у кого были свои небольшие плавильные печи. Хорошее железо брали сельские кузнецы. Ну, а медь – это верные деньги.

Лудило хотел было обвесить, но слышалось предупреждающее слово «кеге» – и гири были подсчитаны правильно. Кега, не умея говорить, хорошо знал счёт. Лудило отдал всё до копеечки.

Маврик получил рубль шестьдесят три копейки. Таких денег он никогда не держал в своих руках. Кега помог разделить деньги пополам. Неделимую копейку отдали Кеге, и он принял её как заработанную.

– Откуда такие деньги? – спросила мать Санчика, когда он принёс их ей и сказал: «Мама, это тебе на новое платье».

Маврик объяснил, как у них оказалось по восемьдесят одной копейке, и тоже пошёл домой отдавать свою часть тётке Кате.

Он важным, серьёзным вошёл в комнату, где тётя Катя шила дорогое заказное платье на своей старинной швейной машине фирмы Попова. Пришёл и сказал, стараясь подражать Терентию Николаевичу, с хрипотой в голосе:

– Это тебе на сливочное масло, тётя Катя... Нынче оно тоже вздорожало...

Не сразу поняла Екатерина Матвеевна, что всё это значило. Ей долго пришлось рассказывать всё с самого начала и до конца, как Лудило хотел их обвесить, а Кега не дал ему их обмануть. А поняв всё, тётя Катя расплакалась.

Сначала она плакала от стыда перед собой и говорила:

– Маврушечка, неужели же я тебе не покупаю сливочного масла? Его же целых два фунта в погребе на льду.

Потом она плакала от стыда перед другими:

– Что скажут, что подумают о нас... Лудилко теперь разболтает по всем улицам, что ты, мой единственный племянник, внук Матвея Романовича, роешься в шлаке, в мусоре с уличными мальчишками.

И наконец, тётя Катя вместе с бабушкой плакали потому, что Маврик растёт настоящим, хорошим заботливым мальчиком, будущим поильцем-кормильцем, как дедушка.

Когда все слёзы были выплаканы, тётя Катя потребовала у Маврика дать ей честное слово больше не рыться в шлаке, но Маврик сказал:

– Я хочу, как все мальчики, помогать семье.

Это было сказано очень серьёзно. В его глазах стояла настойчивость. Исчезло заикание. И тётя Катя уступила:

– Хорошо. Только не каждый день.

III

С тех пор, когда милый, добрый Артемий Гаврилович Кулёмин побывал с Мавриком на Гольянихе, где жили Киришбаумы, прошло не так много времени, но Ильюше казалось, что это было давно, и очень давно. Да и Маврик терял счёт дням и надежду на скорую встречу с Илем. Едва ли Кулёмину опять понадобится идти к Самовольниковым. В тот раз он относил им на новоселье обещанного пушистого сибирского котёнка. Правда, пока Маврик рассказывал Илю о том, что произошло, а Иль жаловался, как скучно ему, Григорий Савельевич разговаривал с Кулёминым, и оказалось, что Артемий Гаврилович может многое сделать в свободное время для оборудования штемпельной мастерской. Григорий Савельевич очень просил Кулёмина побывать у него. И он обещал. Обещал, но не шёл. Может быть, не шёл потому, что Григорий Савельевич обещал заплатить не так много.

Мальчикам, как, впрочем, и хозяевам квартиры Самовольниковым, даже и в голову не приходило, что за встреча происходила на Гольянихе. Осторожный Киришбаум для отвода глаз наводил потом справки о Кулёмине, кто он такой и можно ли ему доверить точную работу.

О Кулёмине все отзывались очень хорошо, и даже сам пристав Вишневецкий сказал, что это честнейший человек и отличный мастер.

После такой рекомендации Киришбауму можно встречаться с Кулёминым и поручать работу по металлу для штемпельной мастерской. А время шло. Отец успокаивал Илю, что теперь остаётся всего лишь две недели и будет закончено переоборудование низа флигеля под штемпельную мастерскую и закончится ремонт верхнего этажа, где будет их квартира. Тогда он будет жить неподалёку от Маврика. Легко сказать – две недели. Это четырнадцать дней. Четырнадцать утр. Четырнадцать вечеров. Разве так много в лете дней, чтобы расшвыриваться таким счастливым временем, которое он может провести с Мавриком и Санчиком! И есть ещё какие-то краснобаевские мальчишки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.